

Укус ангела

Автор:

[Павел Крусанов](#)

Укус ангела

Павел Васильевич Крусанов

Роман «Укус ангела», как византийская мозаика, собран из разноцветных кусочков. Однако предъявленный автором мир получился осязаемым, цельным, завораживающим и живым. Историей блистательного воцарения в России священного императора Павлу Крусанову удалось задеть самые глубокие и сокровенные струны русского читателя постимперской эпохи. Не только Арктика и Северный морской путь – в пространстве романа Босфор и Дарданеллы тоже наши.

Павел Крусанов

Укус ангела

В оформлении обложки использована картина художника Сергея Титова

© П. Крусанов, 2000

© ООО «Издательство К. Тублина», 2019

© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2019

© А. Веселов, оформление, 2019

Глава 1

Общая теория русского поля

...истинная правда похожа на ее отсутствие.

Дао дэ Цзин

Человек, поцеловавший Джан Третью в губы, назвался Никитой. У него были щегольские усы с подкрученными кверху жалами и шитые золотом погоны на парадном фисташковом мундире, выдававшем принадлежность хозяина к отчаянной гвардии Воинов Блеска. Джан, как и все подростки, мнящие себя опытнее собственной невинности, была довольно вульгарна, но все же мила и опрятна. Империя праздновала День Воссоединения, и Джан Третья впервые целовалась с посторонним. Позже молва, не ведая обычаев старого Китая, где детей простолюдинов, дабы избежать путаницы, называли порядковым числительным, возвела ее в знатный род и пожаловала в предки Сунь Цзы вместе с его трактатом о военном искусстве. В действительности отец Третьей был черной кости – он владел рыбной лавкой на окраине Хабаровска и славился тем, что, подбросив сазана, мог на лету вспороть ему брюхо и достать икру, не повредив ястыка.

Хунхузы, бежавшие некогда за Амур от карательных армий Поднебесной, обрели мир в северной державе, но за годы изгнания не забыли разбойную славу предков и заветы Чэн И, гласившие, что голод – беда малая, а попрание целомудрия – хуже смерти. Поэтому отец Джан Третьей, узнав, что его пятнадцатилетняя дочь ушла из дома к русскому офицеру, мастерски перерезал себе горло тесаком для разделки рыбы. Соседи говорили, будто он, уже мертвый, с головой, отсеченной до позвоночника, продолжал грызть землю и кусать камни, покуда рот его не забился мусором и он больше не мог стиснуть челюсти.

Кроме усов, мундира и, будто сочиненной к случаю, фамилии Некитаев, Никита имел сердце в груди и был не чужд благородной широте жеста и величию порыва. Тяготясь невольной виной, он пил водку двенадцать дней, пока наконец не увидел в углу комнаты синего черта и не понял, что пора остановиться, так

как наверное знал: синих чертей не бывает. На тринадцатый день, к удивлению обитателей китайской слободы, он обвенчался с Джан Третьей по православному обряду, за час перед тем окрестив с приятелем-капитаном по июньским святцам невесту Ульяной.

Вскоре из Хабаровска гвардейского офицера перевели служить в Симферополь, где Джан Третья родила ему дочь – луноликую фею Ван Цзыдэн со стальными, как Ладога, глазами. В семье Некитаевых последние сто двенадцать лет родовыми женскими именами были Татьяна и Ольга, поэтому фею называли Таней, что, безусловно, было приятно матери, так как имя созвучием напоминало ей о славной эпохе в истории застеленной лесами отчизны. Родня Никиты предлагала Ульяне-Джан перебраться с дочерью в русский рай – имение Некитаевых под Порховом, где в погребе томились в неволе хрустящие рыжики и брусничное варенье, где липовая аллея выводила к озеру с кувшинками и стрекозами, где в лесу избывали свою тихую судьбу земляника и крепкий грибной народец и где за полуденным чаем можно было услышать: «Что-то меду не хочется...» – но та, уже знакомая с нравами шалеющих без войны гвардейцев, не пожелала своею волей уступить мужа чарующим массандровским винам и тугозадым симферопольским проституткам.

Через два года после рождения Тани, сразив Европу триумфом русского экспедиционного корпуса в Мекране, а Америке бросив снежно-сахарную кость Аляски (продление аренды), империя решила, что пора сыграть на театре военных действий свою долгожданную пьесу. Так был предъявлен ультиматум турецкому султану. От цидулки сечевиков послание это отличалось только дипломатической манерностью и разве еще тем, что было оно не ответом, а действием упреждающим. Османскому владыке и его золотокафтанным пашам предлагалось немедленно убраться с околпаченным фесками войском в азиатскую туретчину, дабы к империи, в силу исторического и конфессионального пристрастия, отошли Царьград со всей Восточною Фракией и полоса малоазийского берега шириной в двадцать верст от Ривакея до Трои. Зеркально повторив негодование России, отказавшейся два с лишним столетия назад вернуть оттоманцам Таврию, признать грузинского царя турецким подданным и согласиться на глумление в проливах, султан впал в неистовство. Империи это было на руку. После спешной эвакуации посольств, консульств и частных представительств Закавказские дивизии вступили в вилайеты Чорух и Карс, выбросив щупальца к Трапезунду и Эрзеруму. Одновременно с этим имперские эскадры блокировали турецкие порты на Понте, танковый корпус Воинов Ярости, размещенный в Болгарском царстве, взял Адрианополь, а высаженный под Орманлы десант при поддержке райи практически без боя прошел до Теркоза.

Дальнейшее – общеизвестно.

Война была в самом разгаре, когда Никита попал в севастопольский госпиталь с распоротым наискось животом: полк Некитаева первым вошел в Царьград – там, в отчаянных уличных боях, османы вспомнили о своих чудаковато вогнутых ятаганах, которыми некогда покорили полмира впоследствии истребленные Махмудом Вторым янычары. Не приходится сомневаться в тяжести его ран, однако Никита не был бы достоин своего фисташкового мундира, если бы при первом удобном случае не сбежал из пропахшего хлоркой госпиталя в душистую постель Джан Третьей. Вероятно, при этом он в душе огорчился, что ему не нужно лезть к ней по плющу на четвертый этаж, так как в Симферополе семейные офицеры квартировали в двухэтажных домишках.

Это была последняя ночь в его жизни, и он ее не проспал. Швы разошлись, не выдержав упоительной битвы. На краю восторга хунхузку жарко облепили окровавленные кишки, и в нее ворвалось семя мужа, сердце которого уже не билось. Так, подобно Тристану, был зачат Иван Некитаев, прозванный людьми Чумой.

После освидетельствования героической смерти тело Никиты было перевезено в имение под Порховом, где его с воинскими почестями предали земле на семейном кладбище, заросшем ландышем, славянским папирусом – березой и образцово пламенеющей рябиной. После похорон Джан Третья с дочерью вернулась в Симферополь – чтобы, уложив в чемоданы свой скорбный вдовий скарб, окончательно перебраться в поместье Некитаевых. Этими печальными хлопотами она невольно спасла себе жизнь. Пока она тряслась в унылом и пыльном феодосийском поезде, время от времени стряхивая с наволочки угольную гарь, засланные Портой сипахи-смертники в один день вырезали родню и домочадцев всех офицеров гвардейского полка, первым ворвавшегося в Истанбул. Сердце султана алкало отмщения неверным, дерзнувшем оспорить остатки наследия великого Махмеда Фатиха, разорившего узорную шкатулку Византии, поправшего пятой Бессарабию, Валахию, Крымское ханство и покорившего почти всю Анатолию. Из обреченных уцелели только те, кто волею судеб в тот злополучный день отлучились из дома.

Через два месяца Турция по Ростовскому миру уступила притязаниям империи, изложенным в ультиматуме, потому что к тому времени потеряла уже втрое больше. Единственное, что удалось отыграть Великой Порте, – это минареты Ая-Софии, которые были разобраны и вывезены в Анкару в обмен на

военнопленных. Поздно вострепнувшаяся Англия была бессильна что-либо предпринять, и ей пришлось удовлетвориться щедрым даром победителя – племенным кобелем и двумя медалистками-суками редчайшей мериносовой породы. После заключения столь бесславного мира султан в слепой ярости казнил всю Оттоманскую Порту, начиная с великого визиря и кончая драгоманами рейс-эфенди, причем если осужденный умирал на эшафоте меньше четырех часов, то палач сам лишался головы.

Хунхузка Джан Третья – дочь рыботорговца и наследница дворянских владений Некитаевых – поселилась с луноликой Таней в обезлюдившем имении. Оттуда, сутки спустя после родов, она перебралась в страну китайских духов: выносив дитя, зачатое от мертвого, и тем до конца исполнив долг перед едва не оскудевшей фамилией, она вышла майским вечером к озеру, по глади которого молочными завитками стелился туман, и старой косой вскрыла себе яремную жилу. Вместе с кровью из настежь отворенной вены вырвалась и скользнула в воду серебряная уклейка. За день до того Джан Третья завещала повитухе наречь сына Иваном, так как не успела узнать, какие мужские имена считались родовыми в семье ее мужа, а волшебное имя «Никита» делить на двоих не хотела. Трехлетней Тане и младенцу Ивану, обликом больше удавшемуся в отца, до обретения ими известного разумения уездная дворянская опека, за отсутствием близкой родни, определила в опекуны предводителя.

Уездный предводитель был дородным господином с опрятным румянцем на полных щеках и пристрастием к рубашкам со стоячими воротничками – при всякой вылазке в столицы он покупал их дюжинами, как носовые платки. Кроме доходного сада с пасекой и шестнадцати десятин леса по соседству с имением Некитаевых, предводитель владел кирпичным заводом в предместье Порхова, имел молоденькую русоволосую жену и задумчивого сына Петрушу годов шести с половиною. Последний явился на свет едва ли не беззаконно, ибо повитуха пророчила девочку, так что загодя подобрали ей карамельное имя – Марфинька. Фамилия опекуна была слегка кошачья, отнюдь не по стати владельца – Легкоступов. Касательно душевных качеств, отличался дворянский предводитель добросердечием, рассудительностью и тягой к пассаизму. В семье его считали природным философом, ибо за вечерним чаем, глядя на экран телевизора, где чужедальний ковбой снимал у костра сапог и счастливо шевелил на ноге пальцами, Легкоступов говорил домашним: «Начнем с того, что Североамериканские Штаты неинтересны мне как собеседник – ведь им нечего вспомнить...» Или, листая альбом по живописи, внезапно замечал: «Великие

британские художники придуманы британскими критиками, которые решили, что таковые должны быть». Имел предводитель и особый взгляд на универсум в целом: то, что явлено человеку в действительном мире сущего, – это, грубо говоря, и есть ад. Отвечая основному условию преисподней – наличию времени, которое не позволяет реально остановить мгновение, каким бы оно ни было (остановленный ад – больше не ад, ведь хуже уже не станет), жизнь выводит человека на прогулку по палитре ужаса, дает оценить нежнейшие обертоны страданий, причем выдумывать ничего не приходится – существуй себе только. Место своего присутствия Легкоступов определял как срединный мир, из которого есть лишь два выхода – забвение и спасение. С забвением, кажется, все было ясно, а вот спасение... Ключ к пониманию спасения он видел в древнем речении, частенько украшавшем надгробия египетской знати: «Мертвого имя назвать – все равно что вернуть его к жизни». В подтверждение своей ереси Легкоступов приводил чуткую догадку Гоголя, поведшего Чичикова египетским путем, после чего плутовские купчие Павла Ивановича приобретали внятное сакральное значение. Иными словами, опуская нюансы, спасенный от забвения – это, собственно, и есть спасенный. В результате выходило, что спасение может быть праведным, невесть каким, вроде поминания в газете, и чудовищным, как у Саломеи и Нерона, – преимущества никто не имеет. Однако Легкоступов не делал из своей теории жизнеполагающих выводов и в порховском свете всегда считался почтенным христианином.

Зимой китайчатая Таня и маленький Иван, взявший от матери лишь нежную смуглоту кожи, жили в городском доме опекуна, а летом с Петрушей, женой предводителя, прислужгой, гувернером и нянею перебирались в поместье Некитаевых, обустроенное просторнее и лучше дачи Легкоступова. Иван был младшим в детской и, не понимая близких к осознанию половых ролей игр Петруши и сестры, одиноко копался в песке, мастерски возводя крепости и населяя их оловянным гарнизоном, строил дома из камешков и веток или в саду, под цветущей яблоней, разговаривал с воображенными друзьями. Во всех его делах чувствовалась если не кротость, то некая отрадная мягкость, вытекающая из веры в изначальную доброту вещей. Но, сталкиваясь с грубой волей бытия, вера эта неизбежно и уродливо коверкалась. Когда дела у Ивана шли не так, как ему хотелось, – властью старших, звавших к обеду или в постель, прерывалась игра или становились упрямыми предметы, – мягкость его уступала место пугающей ярости, страшному детскому нигилизму. Перемена, происходившая с ним в такие минуты, ясно показывала, что будущее его зависит от слепого случая: при удачном стечении обстоятельств он может стать лучшим из людей, но если что-то пойдет не так – на свет явится чудовище.

Там, в имении Некитаевых, жадно впитывая разлитое вокруг ювенильное счастье, дети подолгу сидели в прямом разнотравье на берегу озера, где после смерти Джан Третьей управляющий запретил окрестным мужикам ловить рыбу, и ждали – не выскочит ли из воды за мошкой серебряная уклейка. Там впервые заметили за Иваном странное бесчувствие к чужой жизни: расчленив целый луг кузнечиков, семи лет от роду он из любопытства выдавил пойманной ящерице глаза, до основания остриг когти кошке, съел живьем двух птенцов касатки и отрезал язык брехливой приبلудной дворняге. Воспоследовавшей кары ребенок не понял – так можно наказывать воду за то, что порою течет, а порою леденеет, и ожидать от нее раскаяния.

Закончив гимназию, Петруша проявил наследственную склонность к гуманитарным дисциплинам и уехал в ближайшую столицу, где поступил в Университет, дабы обрести регулярные знания в области философии и классической, романской и славянской филологий с их многоликою герменевтикой. Таня, сама не владея кистью, чувственно вникала в живопись и потому, вслед за Петрушей, отправилась в Петербург, чтобы на факультете искусствоведения Академии художеств научиться понимать краски рассудком. Ивана с восьми лет опекун определил в кадетский корпус.

Пришло время, и случилось так, что кадет Иван Некитаев, после долгого отсутствия приехавший на вакации в имение, со всею полнотой не ведавших остратки чувств влюбился в собственную сестру. В ту пору ему только стукнуло шестнадцать, предмет же вождлений был тремя годами старше. Если событие это достойно розыска виновных, то прегрешение следовало бы возложить на девицу: в среде столичной богемы она обрела вкус к жестоким играм и запретным наслаждениям, которые, помимо страды на пажитях всякого рода художеств, сами доведенные до художества, порядочно оживляли будни сего бестрепетного племени.

Началось все, как и должно, с пустяка.

Когда Иван – только что с автобуса, – в зеленом кадетском мундире и нумерованной фуражке на куце остриженной голове, появился на террасе дома, лунолика Таня, сидя у самовара и держа в нефритовых пальцах ромбик земелаха, пила чай с мятой. Стояло ясное июньское утро, и два широких, с частым переплетом, окна застекленной террасы были распахнуты настезь. В третье – закрытое – билась уловленная прозрачной западной крапивница. За

столом с самоваром, помимо сестры, сидели Легкоступов-отец, рыхловатый торс которого был затянут в лиловую шелковую рубаху со стоячим воротничком (по причине частичного совершеннолетия Тани он был нынче разжалован из опекуна в попечителя), его русоволосая жена, по-прежнему хорошенькая, и Легкоступов-сын, только что защитивший диплом, но уже успевший собрать в голове порядком складочек, чтобы не показывать ни мнимой ученой надменности, ни фальшивого участия к встречному-поперечному, ни иного признака сглаженного мозга.

– Литература – это не просто смакование созвучий и приапова игра фонетических соответствий, доводящая до обморока пуританку семантику... – отхлебывая из дулевского фарфора чай, вел беседу Петруша.

И в этот миг на террасу с отважной улыбкой ступил Иван. Жена попечителя ахнула, попечитель, отвалившись на спинку плетеного кресла, радушно отворил лиловые объятия, Петруша взял под отсутствующий козырек, а Таня сказала:

– Спасибо за иллюстрацию. – И, скользнув взглядом от кадета к филологу, развила Петрушину мысль: – Да, литература – это еще и война, блестящая война, дух которой неизбывен.

Вслед за тем Таня слизнула с губ крошки земелаха, легко поднялась из кресла, смахнула ладонью в открытое окно плененную крапивницу и, подойдя к Ивану, с преступной рассеянностью поцеловала его отнюдь не по-сестрински. Мятное дыхание, витавшее у ее мягких, почти жидких губ, по горло напоило кадета отравой. Конечно, это была провокация: уже неделю Легкоступов-сын демонстрировал явные признаки влюбленности, и беспечная проказница решила разом поиграть с обоими. Трудно поверить, но в итоге эта злая шалость кровью умыла империю и ввергла народы в бездну такого ужаса, какой вряд ли рассчитывал отыскать на палитре жизни-ада безвредно умствующий предводитель.

Благодаря развитому мозгу, в своих притязаниях Петруша был несомненный принципал, но натуре его не хватало решимости и не то чтобы отваги, а той пьянящей жестокости, которую солдаты всех времен называли бесстрашием. Кроме того, был он невелик ростом и слегка страдал избытком плоти. Иван же, напротив, помимо ладной фигуры, отменно укрепленной принудительной гимнастикой, имел натуру непреклонную и дерзкую, а что до образованности и красноречия, в которых он уступал разумнику Петруше, то ему удавалось

успешно покрывать недостатки восприимчивым умом и интуицией. Среди товарищей по корпусу Некитаев считался верховодом, что имело под собой законное основание, подтвержденное недавней полевой экзаменацией, после которой он был определен в кадетскую роту Воинов Блеска, считавшуюся элитной в сравнении с подобными подразделениями Воинов Ярости, Воинов Силы и Воинов Камня.

Медвяный яд Таниного поцелуя, ее последующие слова, касания и взгляды – все эти до невинности изящные фигуры соблазнения и умыкания еще свободных от любви сердец сделали жизнь Ивана невыносимой. Он был уверен, что сходит с ума (хотя бытует мнение, будто безумец всегда неосведомлен о своем безумии); он чувствовал себя пойманным, как давешняя бабочка, в незримые, ласковые, неумолимые тенета – он больше не принадлежал себе; сонм болтливых демонов устроил балаган в его сердце – во все горло, глуша друг друга, бесы держали неумолкающие, ранящие речи, каждый свою: отчаяние, ревность, стыд, позор, оставленность; любое слово о сестре из посторонних уст вызывало в нем трепет, слабость и жар; ему казалось, что кто-то отменил привычную донине действительность, ибо все в мире стало иным: предметы, звуки, запахи, слова и лица; он мелочно соперничал с вещами, которым сестра его намеренно или невольно уделяла хоть сколько-нибудь внимания, – он болезненно подозревал, будто она избегает его, будто пустячки и досадные мелкие случаи интригуют против него, препятствуют забвению, успокоению, бесчувствию; предельное одиночество, не человеческое – мистическое, дающее силы наперекор всему упорствовать в своем заблуждении, нахлынуло и поглотило его; внезапно он обнаружил в себе способность к плачу; и, наконец, ему было доподлинно известно, что только он один сумел увидеть Таню такой, какова она была в действительности, и никто больше не способен на эту пронзительную непогрешимость взгляда. Ну вот, если теперь сказать, что чувства Ивана стали сильнее его, это уже не покажется вздором. В осязаемых до дрожи снах и в ярких дневных грезах он, великий полководец, встречал луноликую фею со стальными глазами в альковах спален покоренных городов – самых гнусных, самых развратных, самых желанных спален. Он и прежде бредил войной, но теперь Танин образ неизменно вставал перед ним из пламени пожаров, и леденящий ужас смертельной опасности обрел для него ее лицо. Иван бежал от наваждения в лес, в поля, на дальние охотничьи мызы, стараясь избыть, развеять неумолимый морок, но стоило ему возвратиться в усадьбу, как темная кровь любви закипала в его жилах и выжигала разум. К середине лета дошло до того, что в помыслах своих он готов был в смерти искать избавления от Тани.

Петруша тем временем с неумелым усердием продолжал куртизанить, упорно не замечая подпаленного рядом пороха, – странности в поведении кадета он относил отчасти на счет казарменного воспитания, отчасти списывал на братские чувства, в число которых, по его понятиям, входила ревность к воздыхателю сестрицы. Однако Иван, в ответ на несестринский поцелуй, и ревновал не по-родственному. То есть его заботило не соблюдение ухажером предписанных приличий, а досадный факт существования соперника в полноценном, не увечном виде. Опасности Петруша не чуял и однажды на свою беду решил смутить душу кадета теологической беседой, превозмогавшей рамки преподанного в корпусе катехизиса. В тот день они вдвоем купались в озере. За завтраком Петруша выпил два бокала каберне, и ему хотелось блистать.

– Ты, должно быть, заметил, – растянувшись под солнцем на камышовой циновке, небрежно предположил Легкоступов, – что Христос не дает инструкций, как следует поступать вслед за капитуляцией второй щеки. Не говоря о том, что печень у человека и вовсе одна... Поэтому я не слишком отхожу от христианства, утверждая: если тебя звезданули по щеке – подставь другую, но потом непременно оторви обидчику голову. Словом, я хочу сказать, что Бог – скорее личность, нежели абсолют, одновременно вобравший в себя плерому гностиков, эн-соф каббалистов, праджню махаянистов и стихию света манихеев.

Лежавший рядом Иван безмолвствовал.

– Берусь доказать, – дерзко заявил Петруша, – что Бог не вездесущ, не всемогущ, не всеведущ и не всеблаг, а стало быть, не слишком от нас с тобой отличен.

– Не верю, – с военной прямоотой возразил Иван.

– Отчего же, изволь: Бог, сотворив мир и все сущее, то есть создав пространство вне Себя, тем самым ограничил Себя, ибо находится вне созданного Им пространства. Следовательно, Бог не вездесущ.

– Чушь, – отрезал Некитаев.

– Вовсе нет. Ведь Бог добр. Будь Он вездесущ, Он был бы и во зле, и в грехе, а это не так.

Иван приподнялся и сел на циновке, по-турецки поджав ноги. На груди его, рядом с нательным крестиком, покачивался на сплетенном из цветных шелковых нитей шнурке золотой амулет в виде славянского солнца с короткими и толстыми, как кудри, лучами.

– Далее, – как по писаному продолжил Петруша, – создав или допустив время, явление, так сказать, самостоятельное, Бог вновь ограничил себя, ибо Он не может уже сделать бывшее небывшим. Следовательно, Он не всемогущ.

– Но это не так, – возмутился кадет Некитаев.

– Это так, потому что Бог милостив. Будь Он всемогущ и не исправь зла сего мира, то Он являл бы нам не сострадание, а лицемерие.

На загорелом лице Ивана проступило чувство неопределенного качества.

– И наконец, – снисходительно подытожил Петруша, – сотворив души, наделенные свободной волей, Бог оказывается не в силах предугадать их поступки, иначе воля была бы несвободной. Следовательно, Он не всеведущ.

– Не знаю почему, но это не так, – угрюмо заупрямился Иван.

– Это так, ибо Он благ. Будь Бог всеведущ и знай злые помыслы людей, готовых сознательно предаться греху, Он не допустил бы греха. – Петруша шлепнул на плече треугольного слепня. – Если же тебе угодно настаивать на том, что Бог всеведущ, то придется признать, что Он не всеблаг. Ведь люди тогда, следуя Божьему Промыслу, не могли бы избежать греха и поступить иначе, чтобы не нарушить Его волю. Но в таком случае за все деяния и прегрешения людей держать ответ перед Богом должен сам Бог.

Посчитав, что продолжение беседы в том же духе будет, пожалуй, уже избыточным бахвальством, дипломированный филолог Петр Легкоступов встал с циновки и, потрогав свои горячие плечи, предложил окунуться. Иван остался недвижим. В голове его недолгое время происходила какая-то трудная работа, проделав которую, он тоже поднялся и легко двинулся за Петрушей к озеру. Пробитая солнечным светом, который не то волна, не то поле, не то сонм корпускул, прибрежная вода казалась рыжеватой. Ничего не подозревающий

Легкоступов, спугнув стайку водомеров, зашел в озеро по грудь, что удалось ему за три с половиной шага, и тут настигший его Иван невозмутимо и по-военному четко продемонстрировал усвоенный урок. Взяв в кулак волосы на затылке Петруши, кадет Некитаев решительно окунул голову соперника в озеро, вода которого, по непроверенным местным слухам, считалась целебной. Извергая пузыри и поднимая придонную муть, Легкоступов забился и засучил в воде руками, однако Иван держал жертву крепко. Когда Петруша обмяк и пальцы его перестали цепляться за руки и ноги мучителя, Некитаев вытащил едва живого герменевтика на берег.

Стоя на карачках, Легкоступов довольно долго кашлял, выкатывая из орбит красные глаза, хрипел и производил еще какие-то рвотные движения и звуки, при которых из носа и рта его хлестали потоки целебной воды, сдобренные каберне и тягучей желчью. Наконец, насилу оправившись, Петруша немощно растянулся на траве и судорожно прошипел:

– Дрянь!.. Ублюдок!.. Я же утоп!

Но Иван был мрачен и убедительно серьезен.

– Пусть за то, – хмуро рассудил он, – Всеведущий сам с себя взыщет. Разве не так выходит? – В глазах кадета не было никого – ни зверя, ни человека. – Запомни, Легкоступов: я знаю, что кровь во мне стала черной. Кровь во мне переменялась, и теперь мне все можно. О Тане забудь. Ты понял меня, Легкоступов?

Петруша понял. Он еще не отдышался до конца, и взгляд его был мутным, но он все понял.

– Ты же брат ей... – вышла из него задохнувшаяся мысль.

– А впредь давай устроим так, – предложил Иван, – я буду делать как захочу, а ты будешь объяснять, почему я поступаю правильно.

Как ни странно, эта мрачноватая шутка со временем преобразилась в некий зловещий постулат, действительно определявший суть одного из уровней их отношений. Однако это случилось потом. Теперь же Петруша подхватил свою одежду и, бормоча довольно банальные ругательства, на нетвердых ногах устремился к дому. Иван остался на берегу. Он сидел неподвижно над мерно

бликующей гладью, а из воды желтыми бисеринами глаз долго и неотрывно смотрела на него узкая уклейка. Если и было сейчас в Иване что-то от солнца, которым он когда-нибудь намеревался явиться державе и миру, то это было солнце в затмении. На него легла тень безумия.

Этой ночью Иван Некитаев вошел в спальню своей сестры. И Таня его приняла – то ли из страха перед помрачением брата, то ли из артистической потребности в острых переживаниях, из художественной тяги ко всему запретному, преступному, оправданному пониманием простой вещи: всякий больше боится прослыть порочным злодеем, чем на самом деле быть им. Так или иначе, но она без принуждения окунулась в эту терпкую ночь греха, а вынырнув в июльском сияющем утре, объявленном пронзительным воплем юрловского петуха, не умерла от стыда и раскаяния. Напротив, нечто новое, какое-то зазорное, но оттого еще более сладкое упоение нашла она в этой растленной любви, и с той ночи оба уже не упускали возможности во всякое время сорваться в бездну своей кромешной тайны, в обоюдном нетерпении не гнушаясь ни стогом сена со всей его скачущей травяной мелочью, ни погребом со студеным ледником, ни обсыпанным пометом, пухом и кудахтаньем чердачком курятника. Собственно, таиться им приходилось лишь от стоячего воротничка попечителя, который по давно заведенному порядку со всем семейством проводил летнее время в усадьбе Некитаевых (часто, впрочем, отлучаясь по безотлагательным хозяйственным хлопотам), и его жены – фанатички грибных и ягодных заготовок. От Петруши – едва ли не с надменным вызовом – Иван почти не скрывался, а прислуга и местные крестьяне заподозрить неладное могли не иначе, как застав нечестивцев с поличным. Но в этом случае, можно не сомневаться, шестнадцатилетний Иван Некитаев не остановился бы перед душегубством. Как и во всяком другом случае.

Тем не менее, соответствуя своей непознанной природе, вскоре возник слух – словно бы сам собой, как пыль, червь или плесень. Чтобы направить домыслы в иное русло, луноликая фея Ван Цзыдэн, чувствительная к переменам в тонкой атмосфере взглядов и недомолвок, однажды, как бы не замечая присутствия в саду жены попечителя и горничной, кропотливо обирающих колючий куст крыжовника, с громким смехом привлекла к себе подвернувшегося под руку Петрушу и быстро, но выразительно его поцеловала. Затем Таня отпрянула, закатила Петруше не слишком болезненную оплеуху и убежала прочь, в пропахший кипящим вареньем дом. В тот же день она уехала в Петербург. Спустя немного времени покинул некитаевскую усадьбу и наскоро собравшийся Петруша. Домашним он сообщил, что едет гостить в Ялту, к бывшему университетскому товарищу, однако плавки оставил предательски трепетать в

саду на бельевой веревке. Иван угрюмо и нелюдимо прожил в имении еще неделю, после чего убыл в казармы кадетского корпуса, напоследок изловив голосистого юрловского петуха и решительно свернув ему голову.

Теперь немного предыстории. За четверть века до встречи доблестного Никиты с хунхузкой Джан Третьей империю расколола смута. Достопамятная Надежда Мира, трижды проклятая и трижды прославленная голь-государыня, чье рождение было отмечено дивным смятением стихий и чьи слова благоухали даже тогда, когда она изрыгала проклятия, разбудила в тот год могучие силы, о природе которых до сих пор препираются ученые и церковники. С несметной ордой нелепого воинства, впереди которой неукротимо катился чудовищный огненный жернов, спекавший землю в камень, Надежда Мира поделила державу надвое. Получив во владение Гесперию, а Отцу Империи оставив восточные пределы, она воцарилась в омытом водами Петербурге. Но не ради монаршего венца губила Надежда Мира города, армии и народы. После обмена заложниками, который призван был закрепить зыбкий мир в рассеченной стране, она получила наконец в свое полное владение предавшего ее любовника – преемника Отца Империи. Но та любовь, что заставила Надежду Мира превзойти границы возможного и поколебать неодолимую державу, теперь, добившись своего, внезапно потеряла силу. При послах Востока владычица Гесперии, удрученная бесчувствием испепеленной души, собственноручно зарезала желанного заложника отменной сталью мастера Гурды. Кажется, ее удивило, что кровь у бывшего любовника оказалась красной и пенилась, как кипящее масло. Вслед за тем Надежда Мира на глазах всей свиты обратилась в тень, которая до сих пор с шелковым шелестом блуждает по Петербургу, и без того богатому на подобные штуки.

Если бы огненный жернов не оставил за собой выжженный след шириною в триста сажен, который долго еще дышал таким жаром, что воздух над ним дрожал, истекая чистым веществом ужаса, а беспечно порхавшие над границей птицы на лету обращались в головешки, Гесперия и Восток, после престранного метаморфозиса Надежды Мира, должно быть, вновь соединились. Но рубеж был непреодолим. Держава смогла восстановиться лишь три года спустя. За это время Гесперия, лишенная единоначалия, день ото дня теряла силы, разъедаемая трупным ядом сепаратизма. Сначала отпали западные провинции: Польша, Моравия, Паннония и Чехия. Затем провозгласили независимость закавказские царства, Болгария и Румыния. Следом за ними отделились Финляндия, Курляндия и Литва. Еще немного, и Гесперия, преданная вассалами,

распалась бы в пыль, в ничто, но тут в Москве, столице Востока, диковинной смертью умер Отец Империи.

Как известно, по заключению смущенных медицинских светил и патологоанатомов, которые освидетельствовали смердящий, растекающийся липкой лужей труп, выходило, что им предъявлены останки человека, умершего по меньшей мере восемнадцать лет назад. Истории неведомо, как Отцу Империи удалось одурачить подданных и так долго править, будучи мертвым, но совершенно точно известно, что одновременно с его вторичной и окончательной смертью выжженная огненным колесом граница внезапно сделалась проницаемой. То есть ее не стало вовсе. Только полоса спекшейся земли, растопленной некогда дивным жаром в магматический расплав и застывшей после в монолите, служила памятью о губительном рубеже. Однако со временем и эту каменную ленту на всем ее протяжении от астраханских камышей до беломорской прибрежной тундры заглушили пески, степные травы, ольшаники, вересняки, душный багульный стланник да сырь болотных мхов. Словом, больше не стало причин, всерьез мешавших изнуренной державе воссоединиться. И она воссоединилась.

Событие это вприснуло в жилы страны небывалую силу. Теперь Гесперией и Востоком, вновь слившимися в Россию, правили два выборных консула – по одному от каждой из земель, обреченных в прошлом на невольную изоляцию. В стране были официально сохранены обе столицы: первые два года правления вновь избранных консулов правительство располагалось в Москве, вторые два года – в Петербурге. Вопреки предсказаниям ученых и астрологов, внутренняя жизнь державы весьма скоро обустроилась, благодаря чему уже при втором консулате империя была восстановлена в прежних границах. При расправе над сепаратистами – в назидание затаившимся и непокорным – на территориях замиренных провинций и царств, ныне лишенных прежних (если такие имелись) привилегий, была введена практика публичных казней. Сорок семь тысяч преступных голов, хлопая удивленными глазами, прилюдно скатились с плеч, прежде чем развеялся в уцелевших мозгах дурман вольномыслия и на окраинах воцарилось относительное спокойствие. Причем все без исключения наместники и генерал-губернаторы отмечали в докладах правительству, что расстрелы и повешенья производят на инсургентов впечатление куда меньшее.

Затем были: аннексия Могулистана и Монголии, Персидская кампания, оккупация Шпицбергена, повторное замирение Ширвана, десант в Калькутте, после чего Англии пришлось отчасти потесниться в Южной Азии, получение

мандата на Кипр, блестящий рейд экспедиционного корпуса в Мекране и, наконец, разгром Оттоманской Порты. Империя являла волю к постоянству движения, обязательное для своего существования усилие, ибо она, как и любая империя, определено была подобна велосипеду – когда седок перестает крутить педали, все катится в упадок, разложение, развал. И солнце над миром горит, как шапка на воре...

* * *

После того безумного лета Иван Некитаев многие годы не появлялся в своем родовом имении. Предположительно, он стыдился. На счастье, к моменту окончания им кадетского корпуса случилась заварушка в Табасаране, куда Иван и был отправлен в качестве ротного командира (спустя весьма короткое время ему уже доверили десантно-штурмовой батальон).

Одиннадцать месяцев правительственные войска гонялись по скалам за отрядами табасаранских абреков, усмиряли восставшие аулы и разоружали искони вооруженных горцев. Именно тогда сложилось и разнеслось языками предание, прославившее Ивана Некитаева как дерзкого, непредсказуемого, безжалостного и до невероятия удачливого командира. Враги ненавидели и боялись его, всерьез считая, что сам Иблис вселился в этого отчаянного уруса, наделил его своей дьявольской хитростью и на погибель правоверным добывает ему победу за победой. Не раз мятежники, превосходя противника силой, суеверно уклонялись от стычек с отрядом Иван-шайтана и, бывало даже, без боя обреченно сдавались в плен, обоснованно полагая, что иначе им нипочем не уцелеть. Пепелища, руины и курганы трупов оставлял за собою лютый батальон. Некитаев нещадно проливал кровь врагов, но он не унижал их – ни излишней жестокостью казней, ни насмешкой, ни милосердием. Пожалуй, для горцев это было самым загадочным и невыносимым, ибо в их мере бытия действительно выглядело чем-то нечеловеческим. Что до солдат империи, то они были убеждены и согласны подтвердить под самой страшной клятвой, что в комбате Некитаеве пребывает дух архистратига Михаила, неборимый и великий дух победы.

Иван был удостоен тринадцати покушений и при этом ни разу не получил даже легкой раны. Зато обрел славу неуязвимого ратоборца, хранимого судьбой и всеми магометанскими джиннами от любой неприятности, будь то заряд динамита под сиденьем бронетранспортера, шип скорпиона или понос от тухлой

воды. К концу Табасаранской кампании он имел уже чин майора, должность комполка, три Георгиевских креста, именной револьвер штучной тульской работы (ныне в армии револьверы патриотично называли скоропалами), саблю – старинный персидский булат, добытую в бою, и ларец, где хранились престранные сувениры: двенадцать бород подосланных убийц и лакированный череп тринадцатого. (Относительно этих трофеев Петр Легкоступов впервые, сам не обратив на то внимания, исполнил завет Ивана, едва ли всерьез обязавшего молодого герменевтика любой, пусть даже самый отъявленный жест Некитаева толковать позитивно. Как личность, известная в кругу петербургских интеллектуалов, Легкоступов однажды дал интервью, напечатанное в крупной столичной газете. Мятеж в Табасаране был только что благополучно усмирен, и об именах героев, благодаря неумеренной пытливости репортеров, привыкших, точно навозники, извлекать пользу из того материала, какой имеют в наличии, равно как и обо всех присущих им, героям, достоинствах и милых чудачествах, осведомлены были весьма и весьма многие. Интервью получилось философическое, но вполне пронцаемое – что-то о бодрийаровском симулякре и декадентском дискурсе новых символистов. Там, иллюстрируя мысль о неизменном примате внутренней деструкции над разрушением физическим, внешним, Легкоступов изрек: «Вот, скажем, дерево. Что оно думает о себе? Оно думает: я дерево, дерево – не мышь, не облако, не севрюжина с хреном, но дерево. И поэтому оно остается деревом и весной расцветает вместо того, чтобы рассыпаться трухой и прелью. Или, скажем, эта жутковатая кунсткамера – известный всем ларец майора Некитаева. Что значит он? Да только то, что хозяин ларца думает: я живой человек, живой человек – не смоляное чучелко, не падаль, не гармонь и не седло барашка, но человек. И поэтому он живет и побеждает, и возвращает под державную десницу неблагодарный Табасаран. А как думают пребывающие в возвышенном упадке наши новые символисты, эти кропотливые искатели истины? Они думают так: мы живые люди, но что такое человек и что такое жизнь? И на глазах распадаются на атомы, изначальные идеи, вечные смыслы и обобщенные символы».)

Вскоре после возвращения с Кавказа Иван Некитаев, в числе наиболее способных молодых офицеров, был зачислен в общевойсковую Потемкинскую академию. Благодаря этому событию и небольшой, кстати подвернувшейся войне в Барбарии, где отличились приглашенные советники и спецы империи, к двадцати восьми годам он, обласканный удачей Воин Блеска, стал самым молодым полковником Генерального штаба.

Глава 2

Табасаран

(за восемь лет до Воцарения)

Сейчас я мог бы пить живую кровь

И на дела способен, от которых

Я утром отшатнусь.

В. Шекспир. Гамлет

На Табасаран упала ночь – глухая, черная, непроглядная. Лишь кололи сверху мир острые звезды. Батальон разбил бивак в полуверсте от аула – ночевку в селе, где на площади высилась гора из четырехсот пятидесяти шести трупов и запах гари изводил своей грубостью, комбат счел неуместной. Что делать, на свете есть вещи с невозможно скверным характером, и война – одна из них. Так он и доложил по радиации в штаб Нерчинского полка войсковому старшине Барбовичу.

Аул взяли только к вечеру. Мятежники дрались отчаянно, и вместе с ними отчаянно дрались дети, женщины и старики. А когда они поняли, что проиграли, и решили наконец сдаться, уповая на милость победителя, капитан Некитаев отказал им в своей милости. В назидание непокорному Табасарану.

Так он поступал уже не раз, за что получил от повстанцев лестное прозвище Иван-шайтан, ибо колыбель его, как считали горцы, качал сам Иблис, постегивая младенца плеткой, чтобы тело бесенка было упругим, а суставы – подвижными. Над саклями и дымящимися руинами взвились белые флаги. Вокруг колебались травы и непоколебимо высились горы. Капитан сказал: «У добрых хозяев рабы отвыкают бояться». И добавил: «Не истязать, не калечить, не жалеть». Приказы комбата исполнялись беспрекословно. Вскоре аул был безупречно мертв. Счет обоюдных потерь: на одного убитого имперского солдата – семьдесят шесть мятежников.

Лично расставив посты, Иван Некитаев возвращался в лагерь. Путь ему освещал наспех сварганенный из палки, ветоши и солидола факел – электрические фонари были розданы караульным. Под ногами шуршали мелкие камни и сухая трава – к утру она, верно, станет сахарной от инея. Ноябрь. Две тысячи метров над морем, которого здесь нет и в помине... Пламя отчего-то было морковно-красным, темным, как будто светило сквозь ржавую пыль. Комбат думал. По всему выходило, что несколько мятежников из отряда, который капитан настиг и запер в ауле, прорвались в горы. Поблизости не было крупных банд, но какая-нибудь шайка, наведенная беглецами, вполне могла попытаться ночью наудачу атаковать сонный бивак. По распоряжению Некитаева солдаты в нескольких местах заминировали дорогу и поставили растяжки на тропях. Однако горцы были здесь дома и, возможно, знали пути, о которых понятия не имели имперские картографы.

Часовой у командирской палатки бодро щелкнул перед капитаном каблуками. Неподалеку, в кромешной тьме гортанно вскрикнула какая-то птица. Кажется, она еще пару раз хлопнула своими махалками. Тьма здесь тоже была незнакомая, чужая – не та, что в России, где ночь реальна и нестрашна, особенно летом, особенно над рекой, когда по берегу шуруют ежи, а под берегом рыщут раки. Иван взялся за полог, чуть пригнулся, и в тот же миг чудовищный ледяной обруч стянул и безжалостно обжег его мозг. Лютая стужа вспыхнула в глазах белым, судорога перекосила лицо... но обруч уже ослабил хватку. Капитану был знаком этот кипящий холод, этот любезный знак провидения, эта снисходительная подсказка смерти. Некитаев перевел дыхание и выпрямился. Над головой по-прежнему были только звезды и то, что между ними. Выходит, вновь вскоре кто-то придет за его жизнью, которая ему не важна, как разница между «есть» и «нет», «полно» и «пусто», ибо это одно и то же для тех, чья воля победила тиранство разума. Но все равно он отдаст жизнь лишь тому, кто сумеет достойно ее взять, кто сумеет загнать его, как дичь, как зверя, кто поставит на него безукоризненный капкан.

Капитан в упор посмотрел на часового – крепкого моложавого сержанта из штурмового отделения Воинов Ярости – и кивнул в сторону входа.

– Слушаюсь, ваше благородие. – Штурмовик в зеленой распятненке с готовностью принял из рук командира факел и первым нырнул в палатку.

Ржавые отблески порскнули по стенам и куполу просторной брезентовой утробы – трофейный тебризский ковер, отливающий золотистым ворсом, вешалка,

легкий стол, четыре складных плетеных стула и походная кровать с пуховиком-спальником, полуприкрытая густо-синей шелковой ширмой с чешуйчатым – чистый карп – драконом. Внутри все было в порядке, то есть там никого не было. Некитаев шагнул к ширме. Он чувствовал, что холод не ушел из мозга совсем – нет, стужа осторожно дышала, тихо, едва ощутимо; она оставалась рядом, только закатилась в дальний угол и затаилась, как мина на взводе. Достав из кармана фляжку коньяка, Иван сделал большой глоток, после чего протянул ее сержанту. Тот с благодарностью принял, крякнул и занюхал «Ахтамар» продымленным рукавом.

– Будем ждать здесь. – Капитан нагнулся и достал из-под кровати фальшфейер. – Факел брось, а как велю – свети этим.

Часовой метнул фыркнувший факел за полог и затоптал пламя сапогом. В полном мраке Некитаев щелкнул зажигалкой, ступил за ширму, сел на шерстяной пол и привалился спиной к кровати. Подождал, пока сержант устроится за вешалкой с одиноким дождевиком на рожке, и сбил язычок голубоватого пламени.

– Опять умышляют, ваше благородие? – шепотом спросил штурмовик.

– Да, Прохор, опять. И мы их снова сделаем.

– А то! – незримо осклабился в темноте Прохор.

Что Некитаев знал о них? Солнце – чернильница Аллаха. Нуга, халва, шербет. Раджеб, шабан, рамазан, шавваль. Муэдзин кричит с минарета, муфтий толкует шариат и заказывает паломникам кувшинчик воды из Земзема. Михрабы всех мечетей смотрят на Мекку. Шейх читает диван газелей Саади «Тайибат», что значит «Услады», и мечтает искупаться в Кавсере, что (мечта) ничего почти не значит. Фарраш расстилает молитвенный коврик, лифтер Али свершает свой намаз. В чаше Джамшида отражается весь подлунный мир плюс звезда Зухра... Впрочем, это не о них. А вот о них: они нападают ночью и не используют трассеры, чтобы нельзя было засечь стрелка, а горное эхо отечески покрывает их, не давая сориентироваться по звуку. Они грызут гашиш, как сухари, и на спор ловят зубами скорпионов. После рукопожатия с ними можно не досчитаться пальцев. Они берут заложников и воют, заслоняясь собственным прекрасным полом, который весьма невзрачен. С ними нельзя договориться, потому что у них

змеиный, раздвоенный язык и они не помнят клятв. Они оставляют после себя оскопленные трупы пленных, насаженные на шест скальпы и насмерть обваренные в смоле тела имперских солдат...

Часа полтора было тихо (Проخور пару раз едва слышно потянул носом, заряжаясь из щепоти кокаином), как вдруг со стороны ущелья раскатисто громыхнул взрыв – сработала растяжка – и застучали дробные автоматные очереди, нагоняемые собственным эхом. Лагерь ожил. Снаружи слышался топот ног и резкие выкрики команд. Сразу несколько осветительных ракет взвились в небо, бледными радужными репьями, как едва живые фонари на морозе, просвечивая сквозь брезент палатки. Сержант не шелохнулся – он был штурмовиком отменной выучки. Некитаев нащупал на боку рацию и щелчком вызвал ротных.

– Первый, второй, третий – к ущелью, – буднично распорядился он. – Четвертый – охрана лагеря. Остальным усилить посты по всем направлениям. Я тоже иду к ущелью. Связь – только при крайней нужде.

Капитан выключил рацию и сказал в темноту:

– Хрена лысого. Остаемся на месте. Эфир они как пить слушают. Пусть верят – меня выманили.

– Ясный папа, – манкируя уставом, откликнулся Проخور.

Возле ущелья шла вялая перестрелка, время от времени гулко ухали взрывы. Ничего серьезного там происходить не могло – так, простодушная уловка, представление в виде случайной ночной стычки. Ротные вполне могли разобраться сами. Некоторое время все продолжалось примерно в том же духе, как вдруг снаружи, за стенкой палатки, слышался тихий отчетливый шорох. В тот же миг на мертвом небе зависла очередная ракета, и комбат углядел, как внутри палатки, отогнув полог, неслышно скользнули две тени. «Прошли все посты, – отметил Некитаев. – И видят в темноте, как ночные зверушки». Однако если гости и видели что-то во мраке, то все же не так ясно, как при свете дня, ибо не заметили засаду и стали молча возиться с чем-то неподалеку от входа. Держа наготове скоропал, капитан дождался, когда небо бледно осветилось очередной ракетой.

– Давай! – беря на внезапный испуг, гаркнул он и одновременно пальнул в ближайшую метнувшуюся тень.

Сразу же громыхнул ответный выстрел, и пуля с треском расщепила что-то над правым ухом Некитаева. Как водится, треск он скорее почувствовал, чем услышал: пальба съедает все другие звуки. Затем послышался тупой удар, приглушенный вскрик, и командирская палатка до рези в глазах озарилась шипящим сиянием фальшфейера.

Один абрек неподвижно лежал на ковре. Пуля комбата поразила его в мозжечок – бритую голову проветривала сквозная дыра размером с грошик. Второй – молодой, безбородый, с неуместной саблей на поясе – стоял на коленях и держался руками за левый бок, куда, по всей видимости, угодил ему сокрушительным сапогом сержант. Перед мятежником на полу валялся пистолет и кустарная полусобранная мина с радиодетонатором.

– Не бздеть горохом, – бодро посоветовал Прохор бледному табасаранцу и, нагнувшись, поднял пистолет. – Яйца резать не будем.

Полог отлетел в сторону, и в черном проеме с автоматом наизготовку возник караульный четвертой роты.

– Лопухнулись! – сверкнул глазами сержант, но комбат остановил его жестом.

– Убери. – Иван указал вытянувшемуся караульному на мертвого абрека.

Солдат выволок тело и задернул полог. На ковер из простреленной головы натекла лужица вишневой юшки.

– Зачем ты пришел? – Ледяной обруч растаял в мозгу Некитаева. – Разве ты не знаешь, что стало с теми, кто приходил до тебя?

– Знаю. – Лицо табасаранца было цвета мокрого мела, то и дело он судорожно сглатывал слюну. – Их трупы жрали собаки, их бороды ты пришил к свой бурнус.

– Стало быть, теперь послали тебя – безбородого, – угрюмо усмехнулся капитан.

– Такой воля Аллах. Старейшина видел. Старейшина сказал – вчера дерево тута на мой двор целый день плакал кровью. Старейшина видел. Такой знак...

Абрек прерывисто вздохнул и вдруг резко потянул из ножен саблю. Однако сержант держал ухо востро – на этот раз сапог угодил табасаранцу в правое плечо. Глухо, как стакан под матрасом, хрустнула ключица. Абрек завалился на спину, как-то сыро всхлипнул и до крови закусил нижнюю губу. На темном полуоголенном клинке благородно заиграли матовые блики. Капитан знал толк в подобных штуках, поэтому наклонился и с любопытством до конца обнажил саблю. Это был отменный булат с красно-золотистой муаровой вязью на дымчатом фоне.

– Зачем ты таскаешь по горам это стародавнее железо? – удивился Иван.

Прохор взял абрека за шиворот и вновь поставил на колени. Горец смотрел на капитана так, будто по меньшей мере уже тысячу лет был мертв.

– Ты пришел в Табасаран, – хрипло сказал он, – и горы тряслись. Камни летели вниз, упал минарет мечети Мухаммад. Там, куда упал минарет, земля трещал, как скорлупа орех. Вах! Там был большой гром, там был дым на небо. Ты – Иблис! – Мятежник отчаянно вскинул голову. – Эта сабля – дар Аллах! Там слово, там печать Сулейман – она убивает шайтан! Ты взял в руки твой смерть!

Комбат еще раз оглядел клинок. Это было отличное оружие. Возможно, настоящий персидский табан. Но не более. Некитаеву захотелось тут же глотнуть коньяка, но он сдержался.

– Такой клинок следует поить кровью, – сказал Иван. – Иначе он истлеет без дела, как чугунок в болоте.

С этими словами он занес и со свистом опустил саблю. Ковер все равно был уже испорчен. Не безнадежно, конечно, но проще раздобыть новый.

– Были и у мамы круглые коленки, – удовлетворенно отметил сержант, поднимая за ухо голову мятежника.

Глава 3

Треугольник в квадрате

(за четыре года до Воцарения)

Согласование судьбы со свободой человека уму недоступно.

Истина

«Ирий – это область, стянутая петлями изотерм: январь +18, июль +26. Ирий – это море под носом, отсутствие зловония и чистые колодцы с вулканчиками ключей на дне. Ирий – это место, где нельзя посадить занозу, потянуть связки, подавиться костью и подхватить насморк. Ирий – это такие края, где запрещено трястись горам, где не бывает самума и где дождь не может лить дольше получаса. Ирий – это зона отсутствия естественных врагов, паразитов и кровососущих. Людей там, конечно, тоже нет, ибо человеку отчего-то важно быть правым. Даже в извержении пустоты. А ирий не терпит соперничества...»

Оторвавшись от своего философического дневника – толстой, переплетенной в коричневый опоек тетради, – Петр Легкоступов извлек из кармана жилета часы и взглянул на эмалевый циферблат. Князь звал к семи, однако по пути следовало зайти к гадалке, стало быть, из дома выйти придется в пять. Часы показывали половину пятого.

Петр не доверял расхожим астрологическим прорицаниям, ибо знал, насколько в действительности кропотлив и долог труд составления индивидуальных гороскопов. Не верил он и в возможность прозреть будущее путем исследования ладони, птичьих кульбитов, потрохов и костей домашней скотины, да и бобы с гадальными прутьями, равно как волхования на воде, зеркале и огне, вызывали у него лишь рассеянную улыбку. Также казалась ему сомнительной осведомленность всякого рода спиритусов, шалящих с блюдами и шельмоватыми медиумами. И тем не менее, забрав звездочетов, хиромантов, знатоков ауспиции, гиероскопов, скапулимантов, дактилиомантов и прочих папюсов, раз в месяц Петр Легкоступов навещал гадалок, раскладывавших перед ним колоду Таро, арканам которого он отчего-то верил.

С нынешней провидицей Петр прежде не знался, хотя та имела весьма широкую клиентуру в Петербурге и уже давно была отрекомендована ему вполне положительно. Сегодня наконец он набрал ее номер, и ему назначили время.

Гадалка жила на Мастерской, куда, наняв такси, Легкоступов добрался менее чем за четверть часа. Стояла середина мая – пора бодрая и чистая, словно недавно из душа. Конфетная фабрика «Жорж Борман», что на Алексеевской, заливала окрестности коричневым запахом шоколада.

Дверь открыла сухощавая, точно грифель, дама. Ее пышные пепельные волосы, начесанные шапкой и спадающие до плеч, выглядели странно неподвижными, – вероятно, на них не пожалели лака.

Легкоступов представился.

– Милости прошу. – Хозяйка, шурша фиолетовым платьем, причудливым и старомодным, отступила в глубь коридора. Вся целиком – пепельная прическа, фигура, платье, браслеты и перстни с минералами – она производила впечатление одновременно чего-то роскошного и жалкого, как мокрый павлин.

По длинному узкому коридору, где Петр прошел, точно поршень, гоня перед собой ветер, гадалка провела гостя в комнату. Там не было ни воскуренных фимиамов, ни таинственного полумрака, ни эзотерических гравюр на стенах, что Легкоступову определенно понравилось. Посредине, под вишневым шелковым абажуром, стоял круглый стол, покрытый скатертью из тяжелого гобелена; стулья подле стола благородно возносили высокие готические спинки. Прочая мебель также была старинной и добротной, а мелкие изъяны, свидетельствующие о честной, непрекращающейся и поныне службе, лишь добавляли ей того обаяния и породной основательности, какие присущи всякой старине, будь то чеканный потир или окаменелый трилобит. В книжном шкафу, на ореховом буфете, с краю массивного стола и даже на подоконнике (Легкоступов улыбнулся такому нарочитому чернокнижию) в кожаных переплетах, с махрами по краям желтых страниц и поблекшими мраморированными обрезами стояли и лежали всевозможные фолианты, кварты и октавы. Однако в целом, включая разведенные опоясками портьеры, все было довольно стильно. Только лучащийся куб террариума, подсвеченный сверху люминесцентной лампой, выпадал из интерьера всей своей стеклянной геометрией – там, на песчаном дне с камнями и декоративным валежником, застыли в безучастном созерцании прозрачного узилища несколько пятнистых

эублефар.

Присев по приглашению хозяйки на готический стул, Петр не заметил, как на столе возник поднос с двумя рюмками и графином, полным – в тон платью – чего-то фиолетово-тягучего.

– Отведайте моей ежевичной, – радушно предложила гадалка и не удержалась от похвальбы: – Прелесть что такое.

– Извольте, – немедленно согласился Петр.

Хозяйка наполнила обе рюмки всклень и, аккуратно отпив из одной, положила перед собой колоду карт. Легкоступов тоже пригубил «ежевичной», сосредоточенно отследив путь наливки по пищеводу.

– Ну-с, на что же гадать? – разминая пальцы, поинтересовалась хозяйка. – На суженую, на сделку или так – что в жизни будет?

– Что будет, – кивнул Легкоступов. – Развеем мрак грядущих дней.

Хозяйка удовлетворенно пожевала губами.

– У вас ловкие руки, – заметил Петр.

– Вы правы. Мои руки могут скопировать любой почерк и отличить на ощупь пять разновидностей льда, соответствующих пяти степеням одиночества. – Ворожея помолчала. – Скажите, знакомы ли вы с Таро?

Петр ожидал, что гадалка спросит об этом, и заранее решил не настораживать ее своей осведомленностью.

– Так... – Он неопределенно повел рукой в пространстве. – Петь не умею, но люблю.

Большую частью пребывая в области довольно конкретного знания, Петр Легкоступов, тем не менее, на рубежах своих чувств и мыслей постоянно замечал какие-то тени, движения и шорохи – что-то вроде призраков бокового

зрения, потусторонней музыки в гудящем тоннеле подземки. При этом таинственность и неуловимость пограничных движений странным образом выступали гарантами их истинности: ведь чувства непосредственные – Петр полностью отдавал себе в этом отчет – постоянно обманывают человека: язык наделяет перец качеством огня, зрение приписывает чашке свойства отраженного ею света, слух жалуется роялю особенностями колеблемого воздуха – и так во всем. Но что-то иное грезилось порой Легкоступову за привычным фасадом предметов – невнятный пожар в недрах всякого вещества. Это иное манило и пугало его, ибо он, имея подчас способность с холодным вниманием взирать на червя, будильник, сурепку, понимал, что увидеть сущее во всех его проявлениях таким, каково оно есть, – своего рода самоубийство.

Гадалка проворно отделила двадцать два старших аркана от колоды «малого ключа» и принялась – по правилам, левой рукой, – раскладывать их на середине стола. Вскоре на гобеленовой скатерти сложился треугольник по семи карт в каждой стороне, а оставшийся Безумец лег в центр фигуры.

– Это – Божество, непознаваемая сущность мира. – Хозяйка очертила треугольник ножкой рюмки, которую только что допила до конца. – А это – человек. – Она указала на Безумца.

Отставив рюмку, она взяла колоду младших арканов и начала выкладывать вокруг треугольника большой квадрат – по четырнадцать карт в стороне, сообразно мастям: чаши, пентакли, жезлы и мечи. Легкоступову все это было в общих чертах известно – и по оккультной литературе, и по практике прошлых гаданий, – однако он не перебивал ворожею, стараясь отметить малейшую фальшь, чтобы определить для себя меру доверия к предсказанию.

– Квадрат – это осязаемый и зримый физический мир, – продолжала хозяйка, – он равен ядру – Безумцу, и это значит, что весь зримый мир отражается в сознании человека – он есть сумма его представлений о мироздании. Но помимо сознания в Безумце заключена душа – она есть центр треугольника непознаваемого мира. Выходит, что Безумец окружен двумя мирами, и оба они, в свою очередь, отражены в нем. Таковы представления Таро о сакральных связях между Божеством, человеком и Вселенной.

Точным движением, с каким-то первобытным магизмом (так обезьяна ловит на лету стрекозу, небрежно вынимая ее из воздуха) гадалка взяла графин и наполнила свою рюмку. Петр, не жалуя торопливость в подобных делах, качнул

головой и от «ежевичной» отказался.

– В Таро нужно входить осторожно, маленькими шажками, как Аладдин входил в город духов, – доверительно сообщила ворожея, – чтобы величие лестницы миров не показалось новичку безосновательным, обещающим, но не дающим. Или же, наоборот – чтобы Таро не взорвало своим великолепием слишком узкий мозг. – Хозяйка поднесла рюмку к губам и, запрокинув голову, выпила, причем пепельная ее прическа, словно шлем Агамемнона, не шелохнулась ни единой прядкой. – Чтобы понять Таро, нужно знать главные положения герметичных наук: алхимии, магии, каббалы и астрологии. Нужно понимать их четверичность – тетрада стихий алхимии, все эти ундины, эльфы, сильфы и гномы, все эти «йод», «хе», «вау», «хе» и астрологические стороны света... Словом, четырем мастям «малого ключа» соответствуют четыре первоначала, четыре класса духов, четыре части человека, четыре апокалиптических зверя и четыре буквы имени Божества. Кроме того, в каждой масти фараон означает огонь, сивилла – воду, всадник – воздух, а вестник – землю. И также по числам. Но без старших арканов вся эта карусель...

– Я признателен вам за то, – не выдержал Легкоступов, – что вы обошлись без оккультной французской басни об иерофантах, доверивших сохранение мудрости Тота карточному пороку, однако нельзя ли ближе к делу: я, право, спешу.

Гадалка посмотрела на гостя как на большое и вредное насекомое.

– Быстро, конечно, только кошки... – заметила она. – Вижу – гадать вам не на любовь и венец...

Хозяйка поднялась из-за стола, подошла к террариуму и, запустив руку в хрустальное нутро («Опытная модель ирия, – отметил Петр. – Рай для рептилий»), одну за другой выудила оттуда три зублефары. Нежно-бархатистые, словно припудренные пылью, с шоколадными пятнами по кремовому фону, ящерицы недвижимо замерли на столе. Они лениво моргали на свет, обманчиво неуклюжие со своими толстыми, как бутылки, хвостами, и сквозь их ушные перепонки розовато – навывлет – просвечивались порошковые черепушки.

– Карты выберут темнотники, – сказала гадалка. – Только прежде подержите каждого в руках и нашепчите обещания.

– Какие обещания? – удивился Легкоступов – никогда прежде он так карты не загадывал.

– Кому – ириску, кому – шей миску. – Хозяйка удовлетворенно улыбнулась. – А я думала, и объяснять ничего не надо... Обещайте что хотите – выполнять не придется. Память у темнотников короткая: видите – в темечке-то пусто.

Петр по очереди взял каждую зублефару – податливые тельца мягко, точно шелк, пластались в ладони – и, стыдясь своей оторопелости, весьма неоригинально посулил одной ириску, другой – арбуз, а третьей – свиной хрящик. Пока он дурачил доверчивых зверушек, гадалка выключила лампу над террариумом и распустила на портьерах опояски. Как только Легкоступов вернул на стол последнего темнотника, хозяйка предупредила:

– Теперь – полминуты ночи. – И плотно задернула окно.

Ослепленный не столько густотой, сколько внезапностью сумрака, в первые мгновения Петр ничего не видел. Потом он разом уловил на столе невнятное движение и упругий шорох, точно спорхнул со скатерти бражник. Но тут гадалка вновь развела портьеры, и оказалось, что зублефары уже переместились в центр стола, где была разложена (в виде заключенного в квадрат треугольника с Безумцем посередине) колода Таро – там ящерицы, тревожно вздымая и опуская бока, замерли каждая на своей карте.

– Смотрите, все три выбрали, – искренне удивилась хозяйка. – Иной раз они, бестии, и одну-то не загадают! – Она вынула из-под темнотников карты. – Надо же, все черные – воля и сила...

Ворожея бережно вернула помощников в террариум, зажгла им лампу и села к столу на прежнее место. Запомнив выбранные арканы и отметив один как сигнификатор, она собрала и тщательно перетасовала колоду. Следом хозяйка сняла четыре карты, и Легкоступов понял, что, коли карты сняты по количеству букв в его имени, то раскладываться будет «Голубь». И это действительно оказался «Голубь», но несколько иной, особенный. Петр знал примерные значения всех «ключей», однако это были прямые значения, в случае же комбинаций – «с кем карта вышла», – которых было превеликое множество, он не осмеливался давать свои толкования, поэтому, ничего в раскладе не поняв, вид принял нарочито безучастный. Гадалка, напротив, изумленно выгнула брови

и отчего-то внимательно, как в трактирный суп, взгляделась в гостя. Затем она, опять на собственный лад, разложила «Жемчужину Исиды», хотя повторное гадание, насколько знал Петр, не приветствовалось и даже считалось вредным, потом – «Чашу судьбы», следом – «Кельтский крест», который просто был черт знает что, и в завершение по всем дотошным правилам исполнила «Яшмовую скрижаль». По ходу расклада, в мельтешении двоек, Всадников, Колесниц, шестерок, тузов и Повешенных, ворожея, казалось, удивлялась все больше и больше, пока наконец не впала в форменный столбняк. Глядя на нее, Легкоступов ощутил какую-то нестрашную тревогу, словно проглотил кусочек льда.

– Вот что я скажу вам, милостивый государь, – очнулась хозяйка. – Быть вам скоро в большой силе и славе – высоко взлетите, не всякая птица на те небеса посягнет... Но будет это черная слава. Перемены в судьбе вашей наметятся со дня на день после одной знаменательной встречи. – Гадалка выразительно замолчала. – Вы сами стремитесь к своему жребию – в нем ваша судьба и гибель. Великая судьба – страшная гибель... А больше вам знать ничего и не надо – только хуже выйдет.

По Офицерской улице несся трамвай – железный грохот под номером тридцать один. Легкоступов ускорил шаг и поспел к остановке как раз вовремя. Двери за его спиной сошлись, и он задумчиво присел у окна. «Пожалуй, в ближайшее время следует отнестись внимательно к новым знакомствам...» – это все, что пришло на ум искушенному герменевтику. Петр имел изрядное представление о повальном недуге всех ворожей – пафосу и страсти к гиперболе, поэтому пророчество не слишком его озаботило. Напротив, оно ему польстило: как человек артистический, а стало быть, немало подверженный гордыне, внешне в повседневье он был весел, подчас – до легкомыслия, общителен, иногда – до вымогательства чужого мнения, любил казаться самобытным, порою – до каприза, однако вместе с тем он был совершенно уверен в своем превосходстве над окружением, случалось – до надменности.

Впереди Петра ждал приятный вечер у князя Феликса Кошкина – креза и повесы, ввиду неокончательной умственной и душевной состоятельности слепо, до обожания благоволящего богеме и вообще людям сколь-нибудь знаменитым. (В свое время, желая прослыть оригиналом, Феликс подсчитал цену человека: он разложил тело на элементы и вывел их суммарную стоимость. Оказалось, что средняя цена человека весьма невелика – около четырех рублей ассигнациями.)

Впрочем, общество князя вовсе не было тягостным, ибо несостоятельность его отнюдь не являлась глупостью, но лишь затянувшейся юношеской готовностью очаровываться, в результате чего князь был склонен скорее соглашаться с собеседником, нежели возражать ему и высказывать собственное суждение, к которому, тем не менее, внутренне вполне был способен. Сегодня Кошкин устраивал прием по случаю выхода двенадцатого номера (из неудержимой тяги к особенке он по-шумерски объявил его юбилейным) литературно-философского журнала «Аргус-павлин», на издание которого время от времени давал деньги. Петр Легкоступов был в приятелях с князем и к тому же являлся постоянным автором журнала, так что нынче он выходил не только гостем, но отчасти и шумерским юбиляром.

За окнами трамвая, резво шелестя всеми своими липами, бежал в сторону лета Конногвардейский бульвар. Легкоступов смотрел за стекло и чувствовал себя счастливым наблюдателем, очевидцем, истинным свидетелем жизни. Он любил это чувство: когда оно было полным, он почти видел, как едва уловимо пробивается в мир сквозь завесу обыденности внутренний огонь вещей и явлений. И всякая мысль отступала. И на душе становилось отрадно и чисто. За рядами лип синий троллейбус тяжело, как утюг, гладил брючину бульвара. По гравийной, почти замшевой, дорожке меж стволов бежал престарелый физкультурник, и на его футболке отчетливо проступали темные пятна пота – слезы подмышек. У подошвы колонны Славы с крылатой столпницей Нике на вершине сидел пыльный серый кот, голодный и вольный, как карбонарий. Петр видел это так. И навсегда оставался единственным свидетелем.

Трамвай, обогнув Александровский сад, вразвалку двинулся в гору и натужно оседлал Дворцовый мост. Открывшийся простор воды, неба и сияющего города посередине внезапным содроганием ударил Петру в сердце и остановил кровь. Петербург походил на запаянную хрустальную сферу, в которой менялись лишь оттенки холодного внутреннего свечения. Петербург походил на влюбленного, отвернувшегося от действительности, – потому что та для него прокисла, потеряла соль, смысл, – на влюбленного, безоговорочно извергнутого из мира, но ничуть не сожалеющего о своей извергнутости, ибо она стала для него желанным откровением. И не важно, чего вождеделел этот влюбленный – воды, власти, корюшки, тополиного пуха или ночи, которая летом ходила налево, а зимой так наваливалась на него грудью, что порой казалось – она вот-вот заспит город. Не важно. Возможно, он – Нарцисс. Возможно, ревность к зеркальному двойнику, дьявольски изощренная фантазия влюбленного и породила всю петербургскую метафизику, весь сонм разномастных невских бесов...

После Дворцового моста, колесовав стрелку Васильевского и Биржевой мост, трамвай повернул к Кронверкскому. На углу Зверинской Петр торопливо вышел – часы показывали без двух минут семь.

Под дверью князя бесстыже шелушился слюдяными чешуйками высохший плевок. Легкоступов не опоздал, однако получил повод поморщиться: в прихожей, куда впустила его опрятная горничная, ему тут же повстречался двоюродный дядя Феликса – сухопарый и седенький Аркадий Аркадьевич. Это был беспутный злокозненный старик, овладевший вершиной коварства: он научился смеяться внутри себя. Любая исполненная им гнусность выглядела великолепно – случалось, из глаз его текли слезы раскаяния или он давал ужасные клятвы в подтверждение своей невинности и, однако, при этом изнутри его раздирал хохот. («Уж не его ли карты показали?» – криво усмехнулся Петр.) Аркадий Аркадьевич был своего рода шут, аретолог – из тех густопсовых стоиков и киников, каких римская знать приглашала на пиры занимать гостей бесстыдными сентенциями и забавными спорами о пороке и добродетели. Однако всякий раз, когда Легкоступов пытался представить себе предел его цинизма, он чувствовал себя опустошенным.

Года полтора назад Петр, сам склонный к розыгрышам, позволил Аркадию Аркадьевичу ловко себя одурачить и в душе поныне досадовал на это. Тогда он почти ничего не знал о сей отъявленной персоне, кроме того, что Аркадий Аркадьевич весьма эксцентричен, живет со щедрот князя Кошкина и вхож в его дом, где Легкоступов пару раз мимоходом с ним и виделся. Однажды они как будто случайно столкнулись у кафе «Флегетон» на Литейном – в тот день там что-то происходило, кажется, заседала Вольная Академия Видящих имени какой-то нечисти – вроде бы Вия. Затея вполне удалась, и Петр с двумя приятелями вышел на проспект в весьма приятном расположении духа. Тут они и повстречали Аркадия Аркадьевича, который сердечно обрадовался знакомцам и сразу же пригласил Легкоступова и бывших с ним на празднование своей помолвки с Оленькой Грач – известной в городе экстравагантной певичкой, некогда прославившейся шлягером с такой припевкой:

Он снимает пальто,

Я снимаю свой мех,

И начинается то,

Что называется грех.

Учитывая изрядную – лет, пожалуй что, в сто – пропасть между нареченными, событие обещало быть забавным, да и трогательная доверчивость жениха, который заявил, что вначале хотел полной тайны, однако сердце его настолько преисполнено счастливым волнением, что если он сейчас же не поделится им с друзьями, то непременно схлопочет инфаркт, делала отказ от приглашения попросту невозможным. Словом, они отправились к Аркадию Аркадьевичу, где невеста уже накрывала праздничный стол. Пешком добравшись до места – Аркадий Аркадьевич жил в Свечном переулке, – на дверях квартиры они обнаружили записку: «Милый! Я все приготовила, но мне непременно хочется пахлавы, карбонаду и крабов. Пошла к Елисееву. Жди. Целую от корки до корки». «Экие капризы...» – умилился Аркадий Аркадьевич и влажно облобызал записку. Однако следом выяснилось, что ключи он оставил дома и к накрытому столу до возвращения Оленьки Грач им решительно не попасть. К счастью, на другой стороне Свечного в полуподвале разместился кабачок, где можно было скоротать время, благо из окон заведения прекрасно обозревалась нужная подворотня.

Сокрушаясь по случаю внезапной заминки и своей стариковской рассеянности («Вам – жить, нам – умяться», – поминутно вздыхал он), Аркадий Аркадьевич провел гостей в кабачок, где открылось, что, помимо ключей, в запертой квартире остался и его бумажник. Теперь, задним числом, Легкоступов, разумеется, сознавал, что в зловредном мерзавце погиб артист, но тогда забывчивость его никому не показалась подозрительной, наоборот, гости принялись утешать сконфуженного жениха и едва уговорили его не возвращаться на улицу, а подождать невесту в уютном трактире за их счет. Заручившись столь любезным участием, Аркадий Аркадьевич сам сделал заказ. Мигом возникли закуски и графин с водкой. «Не прядет мужик, а без рубахи не ходит, а и прядет баба, да по две не носит», – произнес виновник события загадочный тост и с пугающей решимостью опростал рюмку. Стоит ли говорить, что за первым графином появился второй и старый селадон совсем распоясался – то щипал смазливую подавальщицу, усердно предъявлявшую посетителям богатый улов своего корсажа, то бдительно вглядывался в окно и энергично, но уже с нарочитой фальшью восклицал: «Где же ты, касаточка моя? Где, голубонька сизокрылая?..» На третьем графине Аркадий Аркадьевич запел про ворона и долю казака, а Легкоступов почувствовал, что как ни крути, а физиономию он потерял.

Разумеется, никакая Оленька Грач не появилась – ни с пахлавой и крабами, ни без. Разумеется, ключи от квартиры лежали у старого хрыча в кармане, а казачья драма ничуть не мешала ему одновременно содрогаться от внутреннего

хохота. Ну и само собой, на следующий день каждая собака знала, каким занятым манером дядюшка Феликса Кошкина погулял давеча в трактире...

– Право, мне было бы интересно узнать ваше мнение, – безо всякого приветствия обратился к Легкоступову в прихожей Аркадий Аркадьевич. – Не кажется ли вам, что идеал женщины в действительности это не столько мать и хранительница газовой конфорки, сколько не утомленная развратом, соблазнительная и искусная проститутка для одного? Только этим, пожалуй, и можно объяснить престранный обычай дарить женщинам цветы – половые органы растений.

– Сразу внесу мертвящую нотку в наш живой разговор, – хмуро предупредил Петр. – Часом, не одолжите ли денег?

– А сколько вам надо?

– А сколько у вас есть?

– Какой вы забавный... – Энтузиазм Аркадия Аркадьевича угас, и он поспешил ретироваться в гостиную.

Легкоступов не торопясь прошел следом. В просторной комнате уже собрались человек семь-восемь – в основном все люди знакомые. Справа, вдоль стены, помещался стол под лиловой скатертью, уставленный бокалами, бутылками, тартинками со всякой всячиной, салатами в тарталетках и серебряными ведерками со льдом. За столом, с очевидным намерением услужить, стоял рослый афророссиянин в кремовом жилете и белых перчатках – должно быть, родом из тех цветных, что выступили с янки против Юга и после окончательной виктории конфедератов бежали во множестве в Россию, Европу и Китай, да так и прижились на чужбине, хотя лет семь спустя после подписания Грантом капитуляции все чернокожие рабы получили вольную.

По пути приветствуя публику, Легкоступов подошел к Феликсу, занятому беседой с каким-то вертким, московского вида, господином. Князь пожал Петру руку и хитро сощурился.

– А у меня сюрприз припасен – невидальщина! – сообщил он и спохватился: – Да, познакомьтесь, господа.

Феликс представил Легкоступову своего собеседника, который и в самом деле оказался московским критиком – не шибко известным, однако имя его где-то Петру уже встречалось.

– Недавно прочел вашу статью, – сразу же сообщил ухватливый критик. – Называется... как-то по-ратному.

– «Роскошная вещь – война», – осведомленно подсказал князь.

– Совершенно верно. Сильная штука. И написана со вкусом. Скажите, а что вы имели в виду, когда утверждали, будто добро есть не более чем законная апология зла? Или что-то в этом роде. Мысль, безусловно, эффектная, однако ее, мне кажется, следовало бы развернуть. Несколько укрепить, что ли.

– Тогда бы возникла угроза общего места. Не нашего ума дело – прописи строчить, – возразил Легкоступов. – А в виду я имел следующее. Давно бы пора уяснить, что добро и зло, как любовь и ненависть, как наслаждение и боль, – не противоположности, а, так сказать, звенья одной цепи, которая сковывает человека разом, как кандалы. Вспомните Гельдерлина: вместе с опасностью приходит и спасение. Что по-русски попросту: нет худа без добра. Подумайте сами: с изгнанием зла выравнивается общий рельеф бытия – вершины добра вслед за вершинами зла изглаживаются в равнины, и мы получаем прискорбную песочницу, где кулич – событие. С устранением опасности начинается общее оскудение духа – исчезновение злодеев ведет за собой исчезновение праведников, на смену которым приходят новые пастыри – шушера, инославные апостолы со своим Христом, который умеет пепси-колу превращать в кока-колу, да психоаналитики, знатоки заклятий супротив мелких бесов. Духовность подменяется прогрессивной культурностью. Вот и выходит, что великое благочестие оправдывает, прости Господи, дикое лихо.

Критик быстро очертил зраком фигуру Петра.

– Признаться, когда читаешь ваши работы, складывается иное представление о стати автора. Мнится этакий богатырь, Гектор Троянский...

– Что поделать. Зачастую личное присутствие человека значительно преуменьшает его истинное значение.

– Какая мысль! – восхитился князь Кошкин. – Точно Цицерон с языка слетел!

Московский щелкопер Петру не понравился. Взяв восторженного хозяина под локоть, он отвел его к столу и – имея в виду отнюдь не бутылки с закусками – полюбопытствовал:

– Что же ты нам приготовил, душа моя Феликс?

– Нет, нет, – поспешно закрутил головой князь, – не порти праздник, дружок. Сам увидишь.

Негр по жесту Легкоступова налил в бокал бессарабского вермута. Помимо щелкопера, князя Феликса и его двоюродного дяди, с рюмкой и корнитоном в руках выбиравшего себе жертву, среди гостей были два художавых, точно из проволоки, щеголеватых поэта – интеллектуально-медитативных лирика, редактор «Аргус-павлина» Чекаме (Черный Квадрат Малевича), прозванный так за коренастую кубическую фигуру и страсть к немаркой одежде, плюс «сестренки» – две подружки, отчаянные художницы жизни – украшение всякого события богемной питерской жизни. Вскоре в гостиную появился и писатель Годовалов с женой. Завидев рыхлого, изнеженного сибаритством Годовалова, Аркадий Аркадьевич тут же его торпедировал, однако Легкоступов уже не следил за разыгрываемой насмешником драмой, так как увлекся беседой с Чекаме, по-приятельски озорной и, на посторонний слух, немного шарадной.

Все собравшиеся мужчины, за исключением московского критика, Аркадия Аркадьевича и, разумеется, черного лакея, составляли своего рода открытый философский кружок. Петр в свое время был одним из вдохновителей этой затеи, но в глубине души всегда считал ее не более чем милым озорством: по его убеждению, сочинитель, написавший обстоятельный труд о том, когда и как следует брать грибы в Псковской губернии, был органичнее и сокровеннее всей университетской кафедры философии, куда Легкоступова время от времени приглашали в качестве приват-доцента читать на семинарах возмутительные лекции. В разговорившемся грибнике сохранялись ясность намерения и спокойное человеческое упрямство, в то время как ученое любопытство выглядело суетливым в своем недостойном устремлении оспорить божественное право на последнее слово, в своем «я тебя переболтаю». Порой Петру казалось, что философия в целом есть результат некоего осквернения ума. Ведь и вправду, старинное пособие по мраморированию бумаги со всеми своими, ныне памятными лишь штукарям, секретами: грунтом из отвара льняного семени,

квасцами, бычьей желчью и фарфоровыми ступками для красок – в куда большей степени способствовало становлению мировоззрения, нежели пять аршинов защищенных за год диссертаций, густо засеянных «корреляциями», «дискурсами» и «модусами бытия». Возможно, в таком складе мыслей Легкоступова сказывалась наследственная тяга к пассаеизму. Что же касается философского кружка, гордо нареченного «Коллегия Престолов» (под Престолами вроде бы подразумевался седьмой ангельский чин), то Петру он был нужен единственно затем, чтобы, как говорится, оставаться на виду. Проводимые регулярно заседания «Коллегии», на которых рассматривались вопросы и велись изыскания зачастую откровенно провокационного нрава, писались на диктофон, расшифровывались и публиковались в «Аргус-павлине». Однако это было не то дело, которое занимало тайные помыслы Легкоступова. В заповедной келье души он вынашивал иные планы.

– Уйди, вредный старик! – взревел невдалеке Годовалов.

«Рановато», – отметил про себя Петр. Где-то Аркадий Аркадьевич перегнул. Определенно, сегодня был не его день.

К Легкоступову подошел интеллектуально-медитативный лирик, тот из двух, что был и вовсе нетелесный.

– Как здоровье Татьяны? – поинтересовался он со сверхчеловеческой учтивостью, на которую способны разве что французы.

– Благодарю, – сказал Петр, – безукоризненно. Но в силу оригинальности моих чувств к ней...

– А вот и сюрприз, господа! – уловив поданный горничной знак, воскликнул Феликс.

И в тот же миг, сменяя будничную тщету реальности, густая тень накрыла гостиную. Раздался тихий листовяной шелест, стенотреск, мышеписк, ухозвон, и тягостная тишина повисла в воздухе. То явилась Надежда Мира. Явилась и тут же неприкаянно ушла прочь, таинственно отметив это место.

Двери гостиной отворились, и ледяное дыхание судьбы окатило Легкоступова. На пороге, не по сезону загорелый, в новом генеральском мундире стоял Иван

Некитаев.

Глава 4

Старик

(за двадцать один год до Воцарения)

Кабы к нашей доброте ума-разума понадбавить, хорошая бы тюря вышла.

С. Федорченко. Народ на войне

Летний лагерь кадетского корпуса располагался в четырех верстах от сельца Нагаткино, что близ Старой Руссы. Вокруг, пробитые звериными тропами, залегли сосновые леса с вересковыми прогалинами, душным багульником на сырых мхах и непугаными комарами. Неподалеку текла рачья речка Порусья, лизала глину берегов, намывала перекаты.

Никто в лагере толком не знал о старике ничего путного. Кроме того, разве, что был он нездешний, старовер из Керженских скитов. Как объявился года два тому, косматый, с котомкой, в кирзовых, точно откатанных из асфальта, сапогах, так и прижился у кухни: за хозяйственную помощь – то поднесет с родника воды, то раков наловит, то притащит из бора кузовок грибов – сердобольные поварихи подкармливали его с кадетского стола. Офицеры против ничего не имели – им шла добавкой к казенным харчам грибная солянка и пунцовые раки.

Был старик изжелта-сед, худ и не то чтобы сутул, но такого телесного устройства, при котором голова у человека глухо всажена в самые плечи. Лоб его был сплошь составлен из вертикальных морщин, словно по нему сверху вниз прошли частыми граблями. Немало побродил старик по свету и рассказами о своих странствиях мог надолго увлечь как доверчивую стряпуху, так и бывалого каптенармуса. Иван заметил старика сразу, еще с прошлого лета, когда тот начал мягко, но настойчиво выделять его из толпы стриженных курсантов – взглядом, улыбкой, неизменным вниманием и внятной для Некитаева, но едва ли заметной для остальных готовностью к услуге. Какой ни потребуется. Порой

вечерами, в часы, свободные от стрельб, марш-бросков, занятий рукопашным боем, возни с бронетехникой и уроков военного красноречия, Иван приходил в сторожку старика при кухне и слушал его удивительные истории. В сторожке пахло овчиной, сухими травами и дымом от слегка чадящей печки. Там тринадцатилетний кадет Некитаев узнал, что лоси отменные пловцы и без страха преодолевают водою десятки верст; что с врагом они бьются не столько рогами, сколько копытами, причем не по-лошадиному, лягаясь задними ногами, а гвоздят передними, и не обеими разом, но попеременно, – здорового молодого лося не одолеть ни волкам, ни медведю: волки загоняют сохатого лишь по насту, в глубоком снегу, где он вязнет и, выбившись из сил, становится добычей стаи. Там узнал он про кумжу – знатную рыбу, проходную морскую форель, что идет осенью на нерест в бурные карельские реки; длиною она бывает до полусажени и до пуда весом, спина у нее черная, брюхо – золотое, бока – рябые, точно у озерной пеструшки; не всякий рыбак ее видывал, а кому посчастливилось – знает: на берегу кумжа, как оборотень, на глазах становится белой, и лишь когда совсем уснет, вновь принимает прежний облик. Там он услышал о племени днепровских русалок, что обитают в низовьях за порогами: примечательны они тем, что живут в придонье, отчего вся их физика, и без того занятая, по образцу палтуса вывернута на одну сторону; было время, русалки эти за свое уродство, точно придворные карлы, вошли в моду, и едва ли не во всяком ресторане заведено было держать аквариум с днепровской диковиной; оттого, должно быть, поголовье придонных русалок целиком почти извелось, и теперь племя их заповедано.

Часу в одиннадцатом к крыльцу сторожки приходил матерый еж, где неизменно ждало его блюдце с молоком, и Иван отправлялся в барак своей роты. А следующим вечером опять шел к старику и слушал рассказы о якутской тайге и яно-индигирской тундре, где в лучшие времена помещался Эдем – люлька человечества; о богатых протеином кормовых шведских тараканах; о потаенных и до исследователя Розанова неизвестных миру людях лунного света, чья кровь была белой, как сок одуванчика; о державе и Удерживающем – хранителе страны от беззакония, дающем ей оправдание перед лицом Слова; о двух архонтах тьмы и света из страны Арка – один с обликом быка, другой – орла, соединяясь же, они становятся одним существом о двух головах, – зовут их Аффира и Кастимон, утром они ныряют в бездну и плывут по великому морю, а добравшись до берлоги Узы и Азазеля, бросаются на них и будят ото сна, тогда Уза и Азазель спешат в темные горы, думая, что Святой, будь он благословен, зовет их на суд, архонты же вновь переплывают великое море и с наступлением ночи прибывают к Нааме, матери демонов, но, когда архонтам кажется, что они настигли Нааму, та совершает скачок в шестьдесят тысяч локтей и является

перед людьми в разных обликах, понуждая их блудодействовать с ней, а архонты, поднявшись на крыльях, облетают вселенную и возвращаются в Арку...

Иван не знал почему, но слушать старика ему было едва ли не приятнее, чем седого подполковника, преподававшего кадетам в корпусе теорию воинской доблести. На этих уроках Некитаев всегда садился за первую парту, сгоняя оттуда близнецов Шереметевых с одним лицом на двоих, и не сводил глаз с подполковника, который чарующе чеканил с кафедры:

– Воин Блеска ни на что не сетует и ни о чем не жалеет. Воин Блеска знать не знает, что такое петь лазаря. Потому что его жизнь – бесконечный, непрерывный вызов. А вызовы не могут быть плохими или хорошими. Вызовы – это просто вызовы. – При этом он делал жест, который мог означать что угодно.

Подполковник прекрасно формулировал и пленял душу холодным восторгом отваги, но в старике было то мягкое, почти материнское обаяние, которого Некитаев никогда не знал прежде. После вечеров, проведенных в сторожке, он чувствовал себя так, будто нежные руки достали его, маленького, из теплой ванны и обернули в махровую простыню, будто кто-то родной молился за него и вымолил покой...

– Откуда? – однажды спросил Иван старика. – Откуда ты все это знаешь?

– Милок, я много пожил. – Старик готовил в кастрюльке, над которой колебались завитки мимозового пара, какой-то хитрый травяной чай. – И много по земле хаживал.

– Я тоже хочу обойти мир, – сказал Некитаев. – Я обойду его и все увижу своими глазами, хотя мне и кажется, что ты не врешь. Скажи, есть на свете счастливые земли?

– Скажу, – вздохнул старик. – Слушай: есть счастье на земле, но нет к нему пути.

Иван помолчал.

– Так не бывает.

– Правильно, – сощурился старик. – Вот и ищи свою путь-дорожку к счастью. Которой все равно нет.

– Совсем нет?

– Совсем.

– Никакой?

– Никакой.

– Если нет пути, так я его проторю, – решительно заявил Иван.

– Вроде толк в тебе есть, да, знать, не втолкан весь, – улыбнулся гуттаперчевыми морщинами старик.

– Отчего же?

– Когда захочешь рассмешить Бога, поведай Ему о своих планах.

Иван не смел обижаться на хозяина сторожки, да в словах его и не было никакого посрамления – только добрая насмешка, с какой поучают несмышленного и потешного, но породистого и дорогого щенка. Потом они пили травяной чай, горьковатый и терпкий, с медным холодком в послевкусии, и – то ли от чая, то ли от трели сверчка в запечье, то ли от ворожащей, нелепой улыбки старика – голова кадета вдруг сделалась чистой и легкой, мысли исчезли, и безмятежная пустота затопила его изнутри. Не то чтобы сразу, но, кувыркнувшись в плавном скачке, мир преобразился – Иван увидел сущее иным. Реальность вокруг потеряла непринужденную цельность, единство вещей распалось – в мельтешении изменчивых сумерек перед Некитаевым теперь существовало только то, на что он бросал свой взгляд, и эта новая явь была не менее осязаема и реальна, чем прежняя, хотя она, несомненно, являлась созданием его взгляда. Ивану открылись чудесные виды – он парил в синеве неба, нырял в прозрачные водяные глубины, на неведомом лугу погонял травинкой божью коровку, и душа его переполнялась таким счастьем, что от кадета, казалось, исходил призрачный свет. Ничего подобного с ним не бывало прежде. Он не узнавал увиденного, но он все знал о нем. И это знание таило в себе

невыразимое блаженство – то самое, что, по детской вере, скрыто в красноречивом умолчании за последним словом волшебной сказки. Где-то следом за «и теперь у них было все, чтобы стать наконец счастливыми». Или за «удалец на той царевне женился и раздиковинную пирушку сделал». И еще был голос, странный голос...

Когда вбил Хозяин последний гвоздь в кровлю неба и отделил мир от наружного смятения, то помыслы его освободились от забот и ход их стал легким. Вслед за кровлей неба наладил Хозяин светила, чтобы развести друг от друга цвета, дать блеск камню таусень и назначить цену тени, но взглянул на землю и увидел, что она гола и безурядна и цвета в ней нет. Тогда задумался он лесами и травами, мхами и скалами, водами чистыми и водами горькими от соли, и так стало. Потом задумался рыбами в пучине, зверьми в чаще, пчелами в дуплах, червями и пестрыми гадами в недрах, и так стало. Еще раз взглянул Хозяин на землю и понял, что сотворил себе соблазн. Тогда, воспылав, пролил он в землю свой мед, не зная, что будет. Земля же, приняв мед Хозяина, родила двух братьев, и одного звали Палдобар, что значит Бел-Князь, а другого Модрубар, что значит Тьму-Князь, – они стали одни, кого Хозяин создал вполволи. Поскольку же их было двое, то досталось каждому от его полволи половина, а от всей его воли по четверти, и еще по четверти было в них воли от земли и по две четверти собственной. Но Бел-Князь родился прежде, потому четверть воли Хозяина была у него больше.

Как вышли братья из земного чрева, то посмотрели друг на друга, и Палдобар сделал снег, лук со стрелами и горнило, собрал скот в стада, а шляпки гвоздей в кровле неба назвал звездами; Модрубар же сделал саранчу, мух и всех кровоглотов, а одно ухо себе завернул так, чтобы слышать не речь, но кривое эхо. И посмотрели братья снова друг на друга и отвернулись. А были они таковы: Бел-Князь повелевал камню, огню, ветру, радуге и воде верхней, знал имена вещей, имел облик и видел, когда смотрел, но также сквозь веки. Тьму-Князь, напротив, обонял тонко и ходил по чутью, повелевал дыму, пыли и воде нижней, знал эхо имен, чтобы извращать вещи, и не имел вида, но мог стать что угодно, даже претвориться ветром Бел-Князя. Еще в духе Модрубара была черная луна, и служил ему крокодил, а в духе Палдобара было солнце, служил ему лев, и взгляд его пронизал брата в любом облики, но только не при черной луне. Таковы они были.

И стал Бел-Князь делать дела для радости, и что ни творил, тому Тьму-Князь тут же портил нрав по своей любви к худу. Сделал Палдобар дождь, а Модруббар подслушал его имя, перекошил эхом, и потек сверху гнилой сок, который дал начало болотам и жабам. Сделал Палдобар грибное племя для леса, а Модруббар кривотолком склонил его к дурному, и одни из грибов наполнились ядом, а другие вышли из земли с червями. Сделал Палдобар сны, чтобы видеть и при черной луне, но Модруббар привел в них тень и населил ужасом, чтобы взор Палдобара при черной луне плутал и узнавал страх, а дороги бы не ведал. И тогда разгневался Бел-Князь и подумал: «Запру Тьму-Князя камнем в скале, но обернется он водой нижней и проточит камень». И не запер. Подумал: «Сожгу огнем Тьму-Князя, но дым – раб ему и укроет от пламени, и ничего ему не будет». И не сжег. Подумал: «Поражу Тьму-Князя стрелой из лука, но знает он имя лука, и стрела его не достигнет». И не поразил. Тогда положил Бел-Князь в горнило настоящее железо и сковал меч, но имя меча утаил, не сказав. Увидел Модруббар меч Бел-Князя и понял, что не имеет против него силы, ибо не вошло эхо его имени в скверное ухо Тьму-Князя. И побежал Модруббар от Палдобара, но не мог убежать. Палдобар же не мог настичь, потому что были братья равны силой, и когда Бел-Князь настигал, то Тьму-Князь призывал черную луну, и тьма скрывала его.

Увидел Хозяин, что нет у братьев согласия, но вражда, и узнал печаль. Тогда поделил он мир: Палдобар получил в удел половину, а Модруббар – другую, но и порознь не стало у них друг для друга терпения, а была распря и дрожь земли. Понял Хозяин, что не может примирить братьев, ибо владеет не всей их волей, а судить их силой не захотел, ибо оба были ему удивительны. Тогда велел им:

– Сделайте каждый по человеку и научите тому, что знаете.

И Бел-Князь сделал человека из глины, замешенной на воде верхней, и жену ему от тела его, а Тьму-Князь сделал человека из глины, замешенной на воде нижней, и жену от его тела. Хозяин же вдохнул в них жизнь.

Палдобар в своем уделе научил человека тому, что умел, наказав:

– Не называй то, чем дорожишь.

И Модруббар в своем уделе научил человека тому, чем владел, обязав:

– Бойся вещей без изъяна.

Тогда Хозяин сказал братьям:

– Мир этот ваш, но вместе вам не ужиться, ибо хотите покорить друг друга, но покорить не можете. Люди ваши решат за вас, и чей народ победит, того призову, и будет царить, другой же сгинет.

И вынул Хозяин один гвоздь из кровли неба, а в дыру изринул обоих братьев. Но прежде чем вбить гвоздь на место, пустил в мир из наружной смуты младшее время, чтобы с этих пор люди стали смертны и могли убивать друг друга. И пожелал Хозяин, чтобы было так до тех пор, пока не вернется призванным один брат, а иной пропадет. Отсюда взялось время. Отсюда взялись люди и их век на земле...

Кажется, кто-то потрянул Ивана за плечо, когда он разом, точно из минутной дремы, вернулся из своего забытья в сторожку. Ему представлялось, что он провалился в этот странный полусон на один-единственный окомиг, однако небо за окном уже было черно, и на нем качалась белесая луна, как наполовину облетевший одуванчик. Иван лежал на жестком топчане поверх пестрого лоскутного одеяла, а над ним склонялся старик, в руках которого качалась глиняная плошка, где курился тяжелым ароматным дымком какой-то фимиам.

– Что ты видел? – спросил старик, и его морщинистый лоб сжался и расправился, как гармошка.

– Я видел Беловодье и хрустальную гору. – Угли ярких видений еще не потухли в мозгу Некитаева. – Я видел сплетение трав, усыпанное горицветом, кузнечиков и белоголовых муравьев. Вода в студенцах там пузырится, как сельтерская, а в перьях у птиц – радуга.

– Кем ты был в том краю?

– Владыкой, – сказал Иван и, подивившись собственной решимости, добавил: – Я наследовал эту землю со всеми ее насельниками.

Старик поставил плошку на приступок печи, улыбнулся и сухой рукой потрепал кадета по волосам.

В ту ночь Иван уже не смог уснуть в бараке – он вспоминал тающие образы, пытаясь оживить их напряжением ума. Получалось скверно, совсем не то, и от бессилия он кусал подушку.

Раз в неделю старик отправлялся на бричке в Нагаткино – за водкой для офицеров. Случилось, на Троицу, кадета Некитаева отрядили ему в помощь.

Слепней в лесу не было, и пегий жеребец Буян (имя выглядело насмешкой – судя по всегдашней медитативной просветленности этого коняги, в будущем воплощении Буяна мир вполне мог обрести Майтрею), свесив хвост мочалом, неспешно перебирал ногами. На круп жеребцу садились серые мухи, и Некитаев сгонял их прутиком. Дорога была крепкой, с прибитой травой посередине и ровными, выстеленными хвоей, как войлоком, колеями. Иван сидел на козлах рядом со стариком и, находясь в неомраченных чувствах, хорошо думал о жизни. Он представлял себя лошадью, которой правит умелый, мудрый возница, и это не казалось ему обидным, – наоборот, несмотря на некоторую архаичность и неполноту, такой образ добавлял кадету веры в осмысленность жизни. И пусть осмыслена жизнь не им, а возницей, но цель у нее есть, ибо запрягать без умысла и цыган не станет. «Конечно же – не будь возницы, человек не смог бы жить, – возвышенно думал Некитаев. – Зачем ему жить, если известно, что это ненадолго». Как будущему воину, в свои тринадцать лет Ивану уже доводилось размышлять о смерти.

– На вожжах и лошадь умна, – сказал старик и, понукая Буяна, звонко чмокнул пустоту. – А как насчет того, к кому кучер всегда сидит спиной?

Кадет вздрогнул, и сердце его сомлело: как открылись старику его мысли? Растерянность Ивана была сродни той, которую он испытал однажды в петербургской подземке, увидев, как человек, сидящий на скамье рядом с ним, смотрит в партитуру и лицо его при этом удивительно меняется, будто где-то в мозгу у него встроена мембрана, переводящая крючки на линейках в чистые созвучия. «А и вправду, – смущенно подумал Иван, – кто сидит за спиной возницы в той бричке, куда впряжен я?» На всякий случай он обернулся – позади никого не было.

– Чист ты умом, Ваня, – сказал с улыбкой старик, – аки младенец от крещальной купели.

– А ты? – холодея, спросил Некитаев. – Кто ты такой?

– Я-то? – сощурился дед. – Я – пламенник. Порода такая – на чудеса способная и шибко живучая. Не слыхал о нас?

– Не слыхал. А говорили – раскольщик ты из Керженских скитов.

– Что ж, был и в скитах... – Старик чуть помолчал, потом еще раз протяжно чмокнул. – Оттуда ходил ко граду Китежу, чье земное укывище ныне в холмах у озера Светлояр. Летом, в ночь на Купалу, если кто со свечкой вокруг Светлояра обойдет, тому это как хождение богомольное в Киев зачитывается, а если трижды осилить – будто паломничанье по всем уделам Богородицы на земле совершил. Ну а кто двенадцать раз обернется, тот и вовсе как в Святую землю на поклон сходил. Под Владимирскую там вся бродячая ради Христа Русь собирается, колокола китежские, подземные слушает. Само собой, и разрыв-траву сыскивают...

Лесная дорога вывела к большаку, протянувшемуся вдоль кромки бора, и бричка потащилась по солнцу, оставляя за собой содовое облачко пыли. Слева мирно топорщился лес. Справа голубело огромное поле долгунца. Впереди играли с Буяном в салки глазастые жуки-скакуны – проворные и азартные, они отлетали на три сажени вперед, дожидались в горячем дорожном прахе неторопливого жеребчика и вновь неслись взапуски.

– Там, у Светлояра, возле ключа лесного, где сгинул князь китежский Георгий Всеволодович, случилась у меня одна встреча, – сказал старик. – Я-то сам в летах был, когда уж не колеблются, да сошелся с одним из наших – совсем стародавним. Годов ему было девятьсот шестьдесят, пожалуй. Как есть самые аредовы веки.

– Из каких «из наших»? – не понял Иван.

– Известно – из пламенников. Он уже исход земного века чуял, оттого и раскрыл мне, что передал ему последний, супостатами убиенный государь завещальную привеску. Самому ему не посчастливилось наследника сыскать, так пламенник

ее мне отдал – чтобы я вручил помазаннику, если он на моем веку уродится. «У тебя, – сказал, – все впереди, поезди по свету, посмотри города, веси, обитатели. Талисман этот сам преемника укажет».

– Какой государь? – недоуменно спросил Некитаев.

– Не знаешь ты его. То был государь истинный и по той поре тайный. – Старик немного помолчал, уставясь на оживший хвост Буяна, которым тот разгонял объявившихся на солнце слепней. – Царство истое, не оплошное, не иначе родиться может, как от иерогамии, священного брака меж землю и небесами. Жених, помазанник небесный, и есть тайный государь, а невеста – держава земная со всеми ее обитателями. Вот только не всякий раз им повенчаться суждено: много на пути к алтарю терний. А если государь до алтаря дойдет, то через тот священный брак благодать небесная и земле передается. Земля без царя есть вдова.

– А что же консулы? Чем не властители державе?

– И на крапиве цветок, да не годится в венок, – усмехнулся старик. – Государя вымолить надо. Сам собою он не родится.

– Ну а как того государя узнать? – Не то чтобы Иван поверил старику, но ощутил в его выдумке какое-то очарование. Так порой западает в сердце певца – не потому, что певец речет истину, и не потому, что голос его особенно могуч, а потому, что, имея волновую природу, голос этот способен срезонировать, вступить в тонкие отношения со зрителем, который, возможно, по природе своей тоже не более чем волна.

– Знающему человеку это однова дыхнуть, – сказал старик. – Государь завсегда меченый. Только отметина та простому глазу не видима. Как бы тебе... Точно ангел его поцеловал – вот. Да не печально, а со страстью – с прикусом. К тому же у меня и привеска есть: она тайного государя точно укажет – чем он ближе, тем в ней жару прибывает. – Старик легонько похлопал ладонью по груди – так щупают карман, проверяя, на месте ли спички. – Помазанника того я и сыскиваю. Затем и землю русскую всю наискось исходил. Надо талисман ему передать. Силы-то в привеске никакой нет, кроме той, что хочет она быть при хозяине. А раз так, то пусть государь ее и преемствует. Наше дело чуточное – принять да вручить, а дальше ему самому через буревал к алтарю дорогу торить.

Тем временем бричка обогнула невысокий лесистый косогор, и вдали, меж яблоневого куп, показались крыши первых деревенских домов. Старик молчал. Прикрыв веки и отпустив вожжи, он, казалось, задремал на полуденном припеке. Некитаев помахивал прутиком и, елозя на козлах отсиженным задом, обдумывал слова старика. Воображение рисовало ему престранную картину: Георгий Победоносец в ангельском чине, широким веером, точно кречет над зайцем, распустив крыла, кусал за кадык не то Александра Ярославича, не то артиста, сыгравшего его в кино.

На въезде в пустое сельцо (бабы доили на выгоне у Порусьи буренок, мужики тоже чем-то черт-те где занимались) Буяна дружно обтявкали две собачонки. Жеребец в ответ даже не фыркнул. В канаве у деревенской улицы среди зарослей лабазника возились три поросенка, в которых лишь понаторевший в адвокатской казуистике английский ум мог заподозрить трудолюбие. Возле пруда тяжело топтались рыжелопатые гуси. Миновав опрятную часовенку с чудной гонтовой луковкой, бричка встала у дверей продовольственной лавки. Старик, театрально кряхтя, сполз на землю и поковылял к крыльцу. Иван, еще пребывая под впечатлением помстившегося наяву кошмара, тоже было спрыгнул на дорогу, но тут его отвлек странный писк на соседнем дворе. Кадет привстал на козлах: двое белобрысых мальчишек лет семи стояли возле проволочной огородки с цыплятами-переростками и увлеченно наблюдали, как прожорливые твари заживо расклеивают подброшенных им истошно верещащих лягушек. Развеив зрелищем этого детского Колизея нелепый образ хищного ангела, Некитаев поспешил за стариком.

Внутри, облокотясь о деревянный прилавок, вполборота к дверям стоял мужичок в пиджаке и картузе, явно из сельских разночинцев – не то телеграфист, не то землемер, не то учитель астрономии. Глядя на него, Иван вспомнил потешные истории о повыведшихся ныне социал-демократах, которые на своих конспиративных пирушках принципиально ели одну селедку. Приказчик отвешивал мужичку в бумажный фунтик грушевую карамель. Похоже было, что старика в деревне неплохо знали – разночинец уже о чем-то с ним оживленно спорил, а приказчик глупо и вовсе не по обязанности спору их улыбался.

– ...Ибо такова структура нашего подсознательного с его базовыми устремлениями – эросом и танатосом, – услышал Иван заключительный пассаж разночинца.

– Дался тебе Фрейд со своим матриархальным эросом, – сказал старик, и Некитаев удивился внезапной перемене его лексики, совершенно не вязавшейся с привычным обликом кержака, – старик, словно трикстер Райкин из телевизора, поменял маску, вмиг углубясь в иное амплуа.

– Но кто еще столь внимательно отнесся к проблемам человеческой психики? Кто первый осмелился лечить психику через сознание? – удивился собеседник.

– Признаться, мне странно это слышать. – Старик щурился на полки за прилавком, разглядывая этикетки выставленных там бутылок. – Фрейд усматривает в эротике последнее объяснение человека, саму ее расшифровывать явно не желая. Но что он понимает под эросом? Смутное влечение без конкретного объекта, ясной ориентации и даже без личности, переживающей это влечение. Подобное описание вовсе не универсально. Наоборот, оно отображает совершенно особый тип сексуальности, свойственный сугубо женскому эротизму, симптомы которого внятно описаны еще Иоганном Бахофеном. Эрос у твоего дорогого доктора – это калька с психологического фона древних матриархальных культур, воспоминания о которых действительно сохранились в виде неуловимых теней в бессознательном. Однако Фрейд проводит странную идею, что матриархальный эрос угнетен, подавлен патриархальным комплексом, напрямую связанным с самосознанием и нравственными принципами. Иными словами, лукавый ве?нец как бы отказывает мужской сексуальности с ее этическим императивом в том, что она является вообще какой-либо сексуальностью, описывая ее в терминах «подавление», «комплекс» и «насилие». Конечно, мужская эротика подавляет донные хаотические импульсы, привносит в их разнузданное буйство волю и порядок, что причиняет этим психическим силам некоторые неудобства. Но подобное насилие над матриархальным эросом не есть танатофилия и источник комплексов. Напротив, это – акт созидательный, направляющий внутреннюю энергию на героическое действие, в чем бы оно ни проявлялось – в религиозной аскезе, в страстной любви, в духе воинственности или творческом усилии. – Старик показал сухим пальцем на бутылку с серебристой этикеткой: – «Кристалл» московский?

– Московский, – кивнул приказчик. – Будешь брат?

– Два ящика. – Старик достал из кармана заколотую булавкой тряпицу, в которой хранил офицерские деньги, поплюнил большой палец и вновь обратился к разночинцу: – А что касается танатоса, то весьма характерно, что доктор Фрейд

понимает смерть как предельный материалист. Для него смерть есть полное и окончательное уничтожение, безнадежная гибель человека, который представляет собой сугубо телесный и однозначно временный психофизический организм.

– На тебя, я смотрю, не угодить. – Разночинец расплатился с приказчиком и взял свой фунтик с карамелью. – Эрос для тебя слишком женский, танатос – слишком мертвый, а Фрейд – слишком материальный и к тому же, поди, жидовин.

– Спасибо. – Старик взял предложенную карамельку. – Меня удивляет та самозабвенная страсть, с которой нынешние молодые умы отдаются этой холере. Ведь сам непристойный характер фрейдистских толкований мог бы послужить указанием на печать дьявола и врата адовы, если бы люди не были так слепы и безразличны в наше темное время. Что говорить – Юнг в комментариях к «Тибетской книге мертвых» ясно дает понять, что фрейдизм взывает только к самым низменным областям бессознательного, связанным с вожделением соития, оставляя всю полноту психической жизни, все архетипы и высокие образы за гранью окоема.

– Ну вот, добрался и до архетипов, – катая за щекой карамель, обрадовался разночинец.

– Любопытна драматургия ссоры Фрейда с Юнгом, – заметил старик. – Однажды ехали они вместе в поезде по каким-то пустычным делам, как вдруг сделалось профессору Зигмунду нехорошо – тараканы в голове побежали наискось. Карл Густав ему и говорит: пожалуйста, мол, дорогой учитель, на кушетку – я вас сейчас проанализирую. «Не могу, – говорит Зигмунд, – есть во мне такие заповедные тайны, такие стыдные мемории, что, если откроюсь, тотчас подорву свой незыблемый авторитет». Тут Юнг его и срезал: «В таком случае вы его уже подорвали».

Приказчик принес из кладовки ящик водки и удалился за следующим.

– Кстати об эдипке... – сказал старик.

– Как-как? – переспросил нагаткинский почитатель Фрейда и рассмеялся, сообразив.

– Известно, что ни единого русского пациента твой доктор не вылечил.

– Это почему?

– А потому, – пояснил старик. – Эдипов комплекс, описанный им как растянувшийся в истории детский невроз, в русском человеке места себе не находит. Нет его в нашем человеке, и все. Вернее, он в нем как бы перевернутый: здесь не сын на отца посягает, а наоборот – родитель дитяню гробит. Вспомни царя грозного Ивана Васильевича. Да и Петра с Алексеем, с русским нашим Гамлетом... Или хоть крестьянина того, Морозова – помнишь, когда нашествие Бонапарта с армией двенадцати языков на Русь случилось, он сына своего убил за то, что тот указал французским фуражирам, где отец овес от врагов укрывал. Опять же Гоголь Николай Васильевич когда-а-а еще сердцем эту тему понял и начертил пером благословенным: «Я тебя породил, я тебя и убью». Так что над отечеством нашим комплекс Морозова витает, комплекс Бульбы его точит, а психоанализ русский – наука, которая ждет еще своего создателя...

– А и вправду, – почесал под картузом затылок разночинец, – наш-то Сулькин наемдни так своего Митьку граблями отходил, что его едва в Старой Руссе коновалы откачали.

– Так то ж за дело, – встрял приказчик, выставляя на прилавок второй ящик водки. – Митька ж мачехе проходу не давал.

– Это еще надвое сказать, кто не давал! – азартно возразил разночинец. – Клавка сама Митьку в койку тащила – приспичило ей пацанчика безусого... А то ты не знаешь, что она за камелия? Когда Сулькин в прошлом годе на Ильмень в путину пошел, не ты ли огородами к Клавке шастал?

– Я?! – зыркнул шальными глазами приказчик. – Ах ты колода ушастая! Блядин сын! А кого у сулькинской бани под дымволоком застукали?!

Обратно Буян тащился так, словно бричка отяжелела не на два ящика водки, а по меньшей мере к ней подцепили целый винокуренный завод. Впрочем, Иван не замечал дороги. Он видел и чувствовал мир по-новому, но как-то странно – словно ему поведали тайну, а он ее не расслышал.

– Я изучал медицину в Зальцбурге, богословие в Киеве и математику в Казани, – говорил старик, когда неторопливая брочка сворачивала с большака на лесную дорогу. – Только это было давно, так что и вспоминать нечего. Словом, всякого отведаль: торговал лесом и писал премудрые статьи, поворачивал и служил в жандармерии, воевал и проповедовал, трепал лен и кормил в зверинце мартышек... Сказать по совести, я был единственный, кого они держали за ровню. – Некитаев беспечно фыркнул. – Не смейся – я был рад этому. У пламенника должна быть тьма личин: за долгий век он сменяет уйму мест, и всякий раз ему приходится становиться иным... Становиться иным и при этом не внушать подозрений.

Кругом стояла тишина, звенящая от редкого лесного звука, словно она была налажена из тончайшего льда, в отличие от прочего вещества скрытного, всегда нацеленного мимо взгляда. «Ведь это не глаз видит предметы, – осенила кадета догадка, – это предметы швыряют мне в глаза свои образы».

– И все же – кто ты? – Иван чувствовал, что спрашивает невпопад, но молчать, казалось, было бы еще глупее.

– Я тот, кто чтит монастыри и тех, кто туда никогда не заходит, – вздохнул старик, и Некитаев не понял: сокрушается ли он по поводу его глупости или по иной причине. – Я говорю обители: не надевай маску печали на лицо свое и не разыгрывай театр скорби с балаганом в душе. И я же говорю беззаботному мирянину: брат, будь в удовольствиях прекрасен, как эллин, но не переходи нигде в свинство. Однако завтра я стану иным: я нашел тебя и больше меня здесь ничто не держит.

За поворотом вот-вот должна была показаться ограда кадетского лагеря, но тут старик внезапно натянул вожжи, и Буян покорно встал, лениво потрянув рыжей челкой. Старик пригнул голову, закинул руки на зашеек и снял с себя золотой кругляшок с ушком, в отверстие которого был продет цветной шелковый гайтан. Кругляшок был не то литой, не то печатный, с рельефным солнышком на аверсе и тугощекой мордой льва на тыльной стороне. Старик протянул амулет Ивану. Кадет подставил ладонь, и кругляшок, ярко сверкнув в солнечном луче, упал ему в руку. От неожиданности Иван вздрогнул и едва не выронил подарок: золотое солнце было горячим, словно его подержали в кипятке, как английскую тарелку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/pavel-krusanov/ukus-angela>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)